

НИКОЛАЙ КУСАКОВ

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

ЗАПИСКИ ВОЖДЕГРАДСКОГО АРХИВАРИУСА

ПОВЕСТЬ

НАША СТРАНА

БУЭНОС АЙРЕС — 1956

НИКОЛАЯ КУСАКОВ

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

**Записки Вожеградского Архивариуса
Повесть**

Буэнос Айрес — 1956

Nicolás Kusákov

LA VIDA SIGUE

**Apuntes de un Archivero de Vozhdegrado
Novela**

Buenos Aires — 1956

НИКОЛАЯ КУСАКОВ

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

ЗАПИСКИ ВОЖДЕГРАДСКОГО АРХИВАРИУСА

ПОВЕСТЬ

НАША СЕРДЦА

БУЭНОС АЙРЕС — 1956

COPYRIGHT BY AUTHOR

О т а в т о р а :

Годы так называемого «дипического сидения» для нас скрасились общением с любезным г-ном N. N., который, в свое время, много лет был архивариусом когда-то при Земстве, а позднее при «Горсовете» в одном провинциальном городке на юге России.

Почти каждый вечер он занимал всех нас, обитателей общей комнаты в бараке, своими живыми рассказами о действительно имевших место обстоятельствах. Обстановка жизни и люди, упоминавшиеся г-ном N. N., живо отразились в нашем воображении и, пользуясь вынужденным досугом, мы решились записать слышанное. Записывая, мы добивались того, чтобы сохранить лексикон и манеру говорить нашего рассказчика. Это показалось нам нужным, как элемент, способствующий более яркому отображению всей атмосферы, в которой имели место описанные случаи.

Затем, мы взяли на себя смелость отобрать некоторые отрывки и связать их подобием фабулы, имеющей начало, развитие и заключение. Ознакомившись с результатом нашей литературной попытки, г-н N. N. одобрил ее и решил именовать повесть его записками. Он просил также упомянуть, что ряд подробностей

стали ему известны по документам, доступ к которым он получил во время германской оккупации.

Разумеется, все имена собственные заменены вымышленными.

А в т о р

I

Есть такая картина: изображена часть платформы и вагон. На окне вагона решетка. Вагон, очевидно, арестантский. На платформе — несколько голубей, которые с жадностью подбирают крошки. Это арестанты бросают им из окна. Из окна на голубей смотрят изможденные лица арестантов. Очевидно, едут на поселение в Сибирь, так как среди них есть женщины и дети. Все они улыбаются, глядя на голубей. Солнце ярко освещает всю сцену...

Картина эта была написана задолго до революции. Художник назвал ее: «Всюду жизнь». В самом деле, и в арестантском вагоне... тоже жизнь.

*

То, что будет рассказано в последующих отрывках, есть событие собирательное. Всего случая не было, но ни один из фактов, здесь описанных, не выдуман и не преувеличен. Здесь лишь собраны в одну группу люди из разных событий, из разных лет и из разных городов. Сделано это для того, чтобы не разбивать на много мелких сцен то, что может быть изображено на одном полотне. Впрочем, отрывки все же остаются отрывками.

И город, где происходит действие, тоже в какой-то мере собирательный. Искать его на

карте — потеря времени. Но название ему надо дать. Надо будет также наименовать и лиц, действующих в повести.

Это был провинциальный городок на юге России, и название его было глубоко провинциальное и непрезентабельное. Столичные жители только нос воротили, когда слышали название этого захолустного городка. Потом многое, ах, очень многое, изменилось. Появился на окраине большой-пребольшой завод. Не ясно ли само собою, что в ходе строительства были разрушены все храмы. Больницу новую выстроили тоже. Театр, вот, новый... Народу много нового понаехало. Уездный городок превратился в районный центр, а самый город переименовали. Стал он называться Вождеградом.

Точная дата описываемых событий теряется где-то в пятилетках. Здесь она не ясна, да и не так важна. Во всяком случае, это было уже после того, как был пожар в здании горсовета. Старый дом НКВД к тому времени передали райкому партии. Там устроили тогда кабинет партучебы. Более точных данных о времени событий не сохранилось.

И вот, в эти самые дни, в этом самом Вождеграде жила семья. Обыкновенная семья...

Последнее время вошло в обычай доказывать, что в условиях современности в России жизнь стала ужасной для рабочих и крестьян. Есть еще тенденция описывать печальную судьбу и метаморфозу настроений идеалистов, делавших революцию. Вот, дескать, хотел хорошего, а вышло плохое. С этих точек зрения

рассуждая, читатель может оказаться недоволен героями этой повести. Они — ни рабочие, ни крестьяне. В некоторой степени они даже, пожалуй, принадлежат к категории социально-чуждых. Все-таки интеллигенция. Революции они тоже не делали. Но разве мало таких, кому они милы и близки? Кто с ними не жил? Кто их не знает?... Кроме того, они имеют не меньшее право на существование, чем рабочие и крестьяне, или чем идеалисты, делавшие революцию. А раз они имеют право на существование в жизни, раз они одинаково дороги России, то имеют право и на свое место в русской литературе, т. е. в сердце писателя и в сердце читателя.

Итак, в Вождеграде жила семья. Отец был учителем математики, мать работала бухгалтером в конторе «Заготзасолплодоовощсбыт», а сын их, мальчик лет двадцати двух, — учился. Ему хотелось было учиться по историко-филологической линии, или в академии художеств. Но послать его в столицу возможности не было, и он учился в местном ветеринарном техникуме. И учился успешно.

Звали мальчика Васей, а фамилия их была Митины.

II. ВЕЧЕР

Начало действия застаёт Васю Митина в комнате, где жила их семья. Дело было к вечеру. За окнами весенняя талая капель чере-

довалась с хлопанием дождя, который, время от времени, срывался с неба. Снег еще на улице не весь стаял, землю уже разморозило. Поэтому весь город превратился частью в лужи, частью в грязь, частью в горы рыхлого грязного снега. Только кое-где по тротуарам лежали плоские льдины от стоптавшегося за зиму снега. По ним можно было ходить.

Вася стоял возле своего уголка в комнате, держа в руках туфли, задумчиво их рассматривал. Привешенный в углу бумажный репродуктор монотонно воркотал какую-то музыку. Вася оперся плечом на старый шкаф, так как остановился он, выходя из-за своей загородки. Занавеска, отделявшая его угол и висевшая на двух гвоздиках, — один в стенку, другой в шкаф, — потихоньку сползала с Васиного плеча. В это время репродуктор несколько раз хрипнул, потом проищал три раза, потом объявил, что по московскому времени сейчас восемнадцать часов, и приступил к передаче последних известий.

— Батюшки, -- воскликнул Вася. — Уже шесть! Надо идти. А туфли?...

Туфли были насквозь мокрыми.

Вася славировал между столом и стульями, подошел к кухонному столику, стоявшему в углу, и зажег примус. Спирта для растопки не было и, пока примус разгорался, комната наполнилась чадом от керосина. Но вскоре примус зашипел придавая комнате тон жилого помещения.

Если мокрые туфли держать над огнем, то их можно подсушить даже не подпаливши. Шумел примус. От туфель шел пар. Потом Вася

взял «Правду» и, разорвав ее пополам, сложил каждую часть в восемь раз, придавая бумаге форму ступни. Получились стельки. Потом он достал старые мамини чулки. Дамские чулки отличаются той особенностью, что после того, как станут уже негодными для дамских ног, на мужские они вполне еще пригодны. Они надеваются на полголеи, как мужской носок, а что остается внизу, обматывается вокруг ступни. Искусством пользоваться дамскими чулками Вася владел в совершенстве, и через каких-нибудь сорок минут он весело улыбнулся сам себе, и тут же громко воскликнул:

— Вот, обувная проблема у нас, товарищи, и разрешена! У нас прежде не было ботинок, теперь они у нас есть!

Затем он порылся в портфеле и, не найдя там чего-то, с дощечки, привешенной к задней стенке шкафа (это была его книжная полка) достал какую-то тетрадь, сунул ее в портфель и вышел из комнаты. Потом вернулся, что-то вспомнив. Взял обрывок газеты и красным карандашом крупно написал: «Папа-мама! Капа под подушкой, кот на крыше». Обрывок этот он положил на видном месте.

Вышел, запер комнату всяческим замком (врезанный уже давно не работал), сунул ключ в щель между притолокой и стеной (семейная тайна! «Хоронка» для общего ключа) и, пройдя темным коридорчиком, вышел на крыльцо.

Напитанный весенней влагой воздух освежил его лицо.

— Хорошо! — воскликнул Вася в восторге.

Хлопнула калитка. Вася пошвыстывая, по-шагал. Он любил говорить «пошагал» вместо «пошел». Пошагал же он в том направлении, куда обычно, в вечерние часы молодые ноги таскают всех молодых людей... и весной, и осенью, и во всякую погоду. И даже в зимнюю стужу.

Впрочем, Вася считал себя слишком серьезным и не хотел признаться самому себе, что шел к Вере потому, что она ему нравилась. Он всякий раз находил какой-то деловой предлог для своих посещений и, когда приходил к Верочке, стремительно заявлял, что «пришел по делу на минутку». Потом повисал, разумеется, на весь вечер. Васе было хорошо.

Он не задумывался над тем, как ему живется. Если бы его спросили, хорошо ли ему, он ответил бы, что очень хорошо. И в самом деле: он вскоре должен был кончить техникум, т. е. вступить в жизнь. Момент волнующий. Большинству из тех, кто к нему приближается, он представляется ужасно радостным. Так и Васе. Материально он был обеспечен. А именно: он жил в комнате с отцом и матерью, и комната эта была с оплатой по жактовской норме, а не по спекулятивной цене. Отец и мать работали и зарабатывали достаточно. У Васи был настоящий костюм для торжественных случаев, а расхожие брюки, и гимнастерка, хотя и были «подлатаны», служили верой и правдой. С обувью он справлялся. Книгами он был обеспечен. Еду всегда удавалось достать. Ему было двадцать два года. Такими благами располагали не все. Вася жил лучше многих других из сво-

их друзей. Полнота его жизни завершалась тем, что, хотя в Верочке он заходил «по делу на минутку», где-то в глубине его души жило еще не выраженное словами чутье, что Вера его либо уже любит, либо все равно полюбит.

Об остальном Вася не задумывался. Некогда. Так и жил.

Жил в Вождеграде на улице Ленина, одевался в одежду швейпрома, когда ее удавалось достать, пользовался предметами ширпотреба, пока они служили, ел обеды из пищеблока... и об уродстве своего быта представление имел самое отдаленное. Он смутно помнил, как выглядели магазины при НЭП-е, ярко вспоминал не так давно закрытые лавки Торгсина, куда носил ризы с икон, когда праздновали серебряную свадьбу родителей. Он дышал свежим весенним воздухом и шагал к любимой девушке. Вопросов не возникало. Было некогда. Поэтому все было просто.

Простота обстоятельств усугублялась тем, что у Васи не было предметов для сравнения. В городе так жили все, если не считать одного-двух врачей, имевших частную практику, да с десяток крупных начальников. С ними Вася не соприкасался и им не завидовал. Некогда.

Вася прошел кварталов пятнадцать. Шел он аккуратно, ловко минуя лужи. «Неудобно же, если приду, а туфли будут хлюпать!»

А воздух был весенний. Мягкий туман окутал город, и сквозь его мглу в серенький день незаметно вползли сумерки. Когда Вася добрался до дома, где жила Верочка, смерклось уже совсем, и в окнах загорелись лампочки.



— Да не так. Не так! Правее. Еще правее!

Так говорила пожилая женщина, стоявшая на крылечке дома, когда Вася, войдя через калитку во двор, остановился перед лужей, разлившейся как раз между крыльцом и воротами, и занявшей чуть не полдвора.

В глубине двора, громыхая цепью и прыгая, громко лаял дворовый пес.

— Вон там обходите... Вот так.. Не бойтесь собаки. Она привязана крепко.. Да замолчи же, Полкан!

Вася почти благополучно пробрался между Сциллой и Харибдой. Сцилла до Васиных брюк не дотянулась, но, неудачно сбалансировав, он все же левой ногой залез в Харибду, и на крылечко взошел смущенный своей неловкостью. «Будет хлюпать, чорт возьми!»... А все-таки прошел.

— Входите, входите. Вот, я вам сейчас дам газетку ноги обтереть. Ничего. Не смущайтесь... Вера сейчас придет. Подождите здесь, — продолжала женщина, приглашая Васю в комнату

— Да, я по делу... на минутку...

— Ладно, ладно. Вот сюда.

Обтерев ноги, Вася вошел в комнату. Здесь был стол, покрытый кружевной скатертью, шкафчик для посуды, большая кровать со многими подушками, сложенными пирамидкой. В углу стоял старый граммофон с трубой.

Вася сел на стул у двери в напряженной позе ожидающего. Варвара Петровна, между тем, зажгла лампочку и села за свою работу.

Барвара Петровна, мать Веры, была школьной учительницей. Сейчас она была занята проверкой ученических тетрадей.

— Вы простите меня, — обратилась она с улыбкой некоторого смущения к Васе. — Надо к завтраму... — И она указала на кипу лежавших перед нею тетрадок.

Было тихо. Время от времени поскрипывало перо в руках Барвары Петровны. Шелестели листики тетрадок. Вася сидел, как мону-мент и молчал. Тикали ходики.

— Верочка в лавку пошла, — произнесла, вдруг отрываясь, Барвара Петровна. — Уже пора бы вернуться. Что-то долго. Более часу, ведь, как пошла за спичками... А все нет ее. Что бы такое?

Но вскоре послышался скрип калитки. Васьино сердце вдруг сильно забилося. Через полминуты в комнату вошла Вера. Она так долго была за спичками, потому что давали сахар. Ей удалось пристроиться к очереди. Получила, ведь. Молодец девушка.

— Бывает же такое счастье! — весело зашебетала Вера, бросаясь к матери и почти не заметив Васи. — Не попадись мне Зина, никогда бы мне сахару не получить. А так я с нею разговорилась и болтала до тех пор, пока люди не привыкли, что я тоже в очереди. Вот мне и досталось. А после меня только трем. Килограмм в одни руки. Здорово!

Тараторя и весело щебеча о своем сахарном счастье, она прошла в соседнюю комнатку, где была кухня и спальня ее матери, сняла там пальто и вернулась.

— Н-ну?

Она стояла перед Васей. Вася еще раз повторил, что пришел по делу и на минутку и стал объяснять существо дела. Оно заключалось в том, что он принес записки по политграмоте, записанные под диктовку Жовтынского, преподававшего этот предмет и в ветеринарном и в педагогическом техникумах. Верочка училась в педагогическом. Из-за простуды она пропустила несколько лекций. Учебники все были изъяты. Гениального краткого курса тогда еще не было, и ученики пользовались только записками. Однако, записки считались годными только тогда, когда сделаны под диктовку преподавателя.

«Самостоятельно не записывайте. — Говорил им Жовтынский. — А то вы что-нибудь не так запишете, а мне отвечать за вас».

Между техникумами было соревнование и взаимопомощь. Это все и дало нынче Васе повод зайти к Вере «по делу на минутку».

Они сели за стол. Мать отодвинула свои тетрадки.

— Смешной Жовтынский, — заметила Вера, списывая себе в тетрадь принесенные записки.

— Почему?

— Не пойму. Сам-то он верит в то, что нам говорит?...

Помолчали.

— Я вот думаю... Сдам э у политику, да я дело с концом. Тогда займусь по-настоящему. Смогу и бактериологию, и химию подогнать.

— Г-м... Вам хорошо. А у нас все на том вертится. Психология ребенка — Маркс. Методика арифметики — Ленин..

— Биология — Энгельс, — подхватил Вася, — а дальше, куда ни кинь — все тот же...

— Хозяин! — Закончила Вера. Молодые люди засмеялись тихим смехом, глядя друг другу в глаза.

— А сдавать все же надо будет...

Она снова склонилась к тетради.

— Надо. Без этого никуда, и ничего...

Но вот кончили и переписывать. Вася весело вскочил и воскликнул:

— Вот, товарищи, проблема записок у нас и решена. У нас раньше не было диктантов по политграмоте, теперь они у нас есть.

Оба рассмеялись.

А потом как-то получилось, что Верочка оделась, и что они оба пошли в кино. Он крепко держал ее под руку. Шли они в ногу, и им доставляло удовольствие, тесно прижавшись один к другому, мерно раскачиваться в такт шагам... когда было можно. Лужи! Улица была безлюдна и тускло освещена несколькими фонариками. В центральной части города, возле кино было светло илюдно. Молодые люди пристроились в хвост и через час уже сидели в темноте зрительного зала. Перед их глазами неслись туманные картины несуществующей жизни.

*

Электрическая лампочка освещала контору «Заготзасолиплодоовощбыт»-а, где между кип

бумаг на столах, время от времени пощелкивая счетами и потрескивая арифмометрами, склонились три головы. Это были: главный бухгалтер конторы Иван Васильевич Попов, его помощник — Анна Митрофановна Митина и кассир Михаил Петрович Шевцов. В конторе было тихо и противно. Бумаги, с которыми им приходилось иметь дело, были рыхлые, их уголки поминутно заворачивались, чернила были бледные, а так как многие документы были — серые бумажки, на которых записи были сделаны химическим карандашом, и прочитать написанное было невозможно, то часто оказывалось нужно подниматься, подходить к лампе и ставить бумажку под особым углом к свету. Тогда можно было прочитать. Настольных ламп у них не было.

А работали они все-таки хорошо. Считали они прекрасно. Корреспонденцию счетов знали отлично и все шло, как по маслу. Все трое были заняты подведением годового баланса. Эта работа требовала особенного напряжения. Если в обычное время им удавалось закончить работу, задержавшись лишь на час, полтора, то теперь они сидели до глубокой ночи. Ночное сиденье было связано, правда, с оплатой сверхурочных; оплатой, о которой за лишние часы в обычное время нечего было и мечтать. Баланс требовался к сроку, а сроки, как водится, давно истекли. Шел март месяц.

— А знаете ли, Анна Митрофановна, — прервал вдруг тишину Попов. — В этом вот об-

*

стоятельстве отрицательного характера, т. е. в нашем забалансовом сидении, есть и положительные черты.

— Что же? — отозвался Шевцов.

— Доделаем, вот... и получаю командировку в центр. Да еще, благодаря тому, что обконтора уже послала свой баланс, еду прямо в Москву. В догонку, так сказать.

— А и хлопотное же дело, — произнесла Анна Митрофановна. — С этой вашей поездкой я уж совсем с ног сбилась. Вы, ведь, этот раз сможете взять?

— Взять возьму. А что привезу?... Абсолютный мрак неизвестности.

— «Нам ракам неизвестно», говорил, бывало, наш немец в гимназии, — снова отозвался Шевцов.

— Трудно?

— Убийственно трудно. Одно дело в главконторе отчитаться... Да еще боюсь, станут отчитывать за опоздание... Впрочем, наше опоздание — по их вине, так что отобьюсь. Но это все полбеды. Трудно, знаете ли, с ночлегом устроиться, да потом и самое очередирование... Ну, посмотрим. А что удастся, то и удастся. Чтонибудь да привезу.

— Ах, достаньте, Иван Васильевич. Ах, как я буду вам благодарна! Ведь в Москве все-таки что-то можно достать. Я деньги собираю, — добавила она робующим, просящим голосом.

-- Собирайте, Анна Митрофановна. Возьму, а за успех не ручаюсь.

Помолчали. Потом Попов вдруг разразился грохотом счетов. Пальцы мелькали, косточки щелкали быстро, как это бывает у опытных бухгалтеров, которые считают «со вкусом». Дав последний щелчок, Попов отклонился и успокоенно вздохнул.

— Итого 7.187.715 рублей и 37 копеек. По шахматке сошло. Завтра подзакончим вапни материальные ведомости, и благословясь — в центр.

— Баянчики по этому случаю не пора ли? — произнес Шевцов.

— А у вас что? Трудовой энтузиазм кончился? — с оттенком шутки спросил Попов. — Пора, пора. Глядите-ка: одиннадцать часов, двенадцатый.

Бухгалтерия стала собираться по домам. Уложились бумаги, ручки, щелкнули всяческие замки на шкафах, куда уставились папки с первичными документами, прогрохотали стулья, в последний раз приставленные к столам. Иван Васильевич стряхнул со счетов последний итог. Стали одеваться. Потом каждый из них взял свои мешки и авоськи, весь день стоявшие в уголке между сейфом и канцелярским шкафом. В мешках были овощи. Как служащие плодоовощной конторы, они имели небольшой «блаток» и могли понемногу снабжать свои семьи, а подчас и соседей, то капустой, то разными соленьями. Перепадала иногда даже картошка. Это, уж, конечно, не для соседей. Ценность.

Анна Митрофановна, кроме авоськи с овощами, несла хитрый переплет из веревочек и проволочек. Эти веревочки и проволочки связывали несколько кастрюлек в «единую, стройную систему» (так любил говорить Вася про это учреждение, заменявшее обеденные судки). Во время обеденного перерыва Анна Митрофановна ходила в столовую работников транспорта и там брала пять обедов. Один съедала тут же, а остальные в «единой стройной системе» приносила домой. Так получался обед для всей семьи.

К тому времени, когда они вышли, уже стало подмораживать. Шел снег. Он падал большими хлопьями, которые плавно спускались сквозь туман весенней ночи. Мороз еще не взялся. На землю снег не ложился, а тотчас же превращался в грязь. Он задерживался только на плечах, на шапках, на воротниках. Руки были заняты. Стряхнуть снег с воротника было невозможно, и он тонкой холодной стружкой заползал за шею.

Два квартала бухгалтерия шла вместе. Шли молча. Только иногда Михаил Петрович, возглавлявший шествие, громко восклицал:

— Здесь держите правее. Осторожно!
или:

— Этому камню не верьте. Он качается.

И шедшие за ним Иван Васильевич и Анна Митрофановна следовали его указаниям. Шагали правее, обходили неверные камни и кочки, ибо иначе они могли бы оступиться в глубокую лужу или трясину. На углу попрощались.

— До свидания.

Потом из темноты послышался голос Анны Митрофановны:

— Так я буду готовить деньги?... — В голесе был оттенок вопроса и просьбы.

— Готовьте, Анна Митрофановна. Готовьте, — прозвучал басок Попова. — Только я не ручаюсь.

Домой Анна Митрофановна дошла благополучно. Дальше дорога была ей хорошо знакома. Ходила она по ней много лет. Ходила, когда еще дворники мели тротуары, выложенные кирпичем, а перед богатыми, не так давно конфискованными домами еще были метлахские плитки. Помнила она, как постепенно на смену плиткам и кирпичу пришел асфальт, как потом эти асфальтовые тротуары разрушались. Она знала каждую лужу, каждый опасный переход. Удивительно ли, что до дому она дошла благополучно. Скрипнув калиткой, по шатким мосткам она дошла до крылечка квартиры, где была их комната.

Войдя в темный коридорчик (наружная дверь никогда не закрывалась), она поставила кастрюльки и авоську на пол, нащупала ключ в щели между притолокой и стеной и отомкнула замок. В комнате было темно и холодно. Повернула выключатель и тогда вернулась в коридорчик, чтобы взять овощи и обед. Теперь свет падал сюда через открытую дверь, и опасности опрокинуть кастрюльки не было. Потом пошла и остановилась возле порога.

«Папа-мама, — прочитала она на газете, — каша под подушкой, кот на крыше».

Улыбнулась. Сын позаботился. Спасибо.

Повесив пальто и шляпку на гвоздик, вбитый в притолоку, она стала отвязывать галоши. Веревочки, которыми галоши были привязаны, насквозь промокли. Узелки забились грязью и в течение дня, пока она сидела в кнотере, набухли и превратились в сплошной комок. Но Анна Митрофановна с ними легко справилась. Опыт. Тогда она выставила галоши в коридорчик и стала разбирать принесенные продукты питания. Овощи она сунула под стол, обед на завтра выставила за окно через большую форточку. Там были вбиты гвоздики, на гвоздиках висели веревочки. На веревочках была дощечка. Полочка. Сюда, открыв окно, можно было легко дотянуться, сюда выставлялась еда «на холод», сюда не могли дотянуться посторонние руки со двора, не могли добраться и кошки.

Выставив «на холод» всю «единую стройную систему» кастрюлек с обедом на завтра, Анна Митрофановна подошла к кровати, стоявшей в другом углу комнаты, и отвернула подушку. Там стоял горшок с кашей. Горшок был завернут в газетную бумагу, чтобы не испачкать постель. Каша действительно была теплой.

Анна Митрофановна разожгла примус, поставила на него чайник, вымыла руки и села за стол. Каша. Та порция, что находилась в горшке, была аккуратно разделена на три части. Одна — Васина — была уже съедена. То, что оставалось было папе и маме. В будни они все обедали порознь, когда кому позволяло вре-

мя. Оставив папию часть в горшке, Анна Митрофановна положила себе в тарелку кашу, развернула книгу и стала читать, одновременно черпая кашу и проглатывая ее без вкуса, без радости, а лишь как бы совершая неизбежный ритуал традиции. Этот ритуал гласил: прежде, чем ложиться спать, надо все-таки что-нибудь съесть.

На столе лежала последняя часть «Тихого Дона». Прочесть считалось обязательно нужно, уже хотя бы потому, что были прочитаны первые части. Заинтересовавшись героями в начальных живых и правдивых частях, Анна Митрофановна дожевывала теперь вместе с автором его расплывчатые мысли последних глав с тем же безразличием, с каким она купала тепловатую сухую кашу.

Между тем закипел чайник. Радио передавало танцевальную музыку. Это значило, что скоро конец дня. Горячий чай с кусочком черного хлеба и ломтиком халвы доставили Анне Митрофановне большое удовольствие.

Прибрав со стола, она поставила на него большую чайную чашку, приготовила хлеб и халву, налила свежей воды в чайник из ведра, стоявшего в углу возле столика, еще раз умыла руки... и стала ложиться спать. Уже раздевшись, в ночной рубаше, она подошла к столу и написала на газете: «Непреренно попей чайку перед сном. Без горячего нельзя. Разбуди утром».

Много раз, вероятно, было описано, как человек засыпает. Вот начинают путаться мысли, вот охватывает сладкая дремота, вдруг про-

бегают по телу резкий толчок, и кажется, что вот упал... Стала было Анна Митрофановна задумываться о денежных делах, задумалась про обувь, про то, что нечего будет носить к лету... потом дремота ее сломила. Она уснула.

В то самое время, когда его сын «шагал» к Верочке, Андрей Васильевич Митин вышел из класса. Только что кончился последний урок. Андрей Васильевич прошел в учительскую, уложил журнал, присев на диване достал кiset с табаком и стал скручивать махорочную папиросу. «Козья ножка»; ее иначе называют «собачья ножка». Задымил.

Учительская стала наполняться учителями, возвращавшимися с последнего урока. Завязывалась беседа, которая довольно быстро обрывалась, потому что каждый торопился домой или по другим делам. Детский шум в коридорах смолк, и скоро в учительскую вошел дежурный учитель.

— Ну, слава Богу. Отправил детвору. Можно и нам на покой.

Учителя расходились. Андрей Васильевич вышел за двери во мглу сумерок и направился к городу. Школа была пригородная. Идти приходилось не по тротуару, а по земле. До города по суху было минут сорок. Но сейчас в весеннюю распутицу ходьба замедлялась. К ногам прилипали комья земли, грязь всползала вверх по брюкам. Идти было тяжело. Мостовая началась в черте города близ трамвайной остановки. Когда Андрей Васильевич подошел к мостовой, ему пришлось долго очищать ботин-

ки и брюки. Дело было привычное, и он, насколько не смущаясь, достал из портфеля столовый нож, который специально для этой цели всегда носил между книг и тетрадей в газетной завертке. Нож был старый. И вот, когда Андрей Васильевич закончил очищать себя от комьев грязи и был уже готов завернуть свой ножик снова в газету, он услышал за плечами голос:

— А нельзя ли, дорогой товарищ, попросить вас об одолжении?

Андрей Васильевич оглянулся. Перед ним стоял Жовтынский.

— Ножичком вашим не разрешите ли воспользоваться? — продолжал он. — И как это у вас все предусмотрено. Ловко.. А?

Митин молча протянул нож говорившему. На его лице было написано крайнее изумление.

— Позвольте... — протянул он. — А как же вы-то очутились в таком, с позволения сказать, грязном положении?

— Да, вот...

— И нуждаетесь в этом оружии производства?..

Жовтынский, покряхтывая, очищал грязь ножом со своих ботинок и, не поднимая головы, произнес:

— Почему же я могу без него обходиться? Чай не ангел небесный я-то, чтобы по воздуху над грязью летать.

Последовала пауза. Когда Жовтынский закончил свой труд, когда Андрей Васильевич завернул нож и уложил его в портфель, они

продолжали стоять, молча поглядывая друг на друга. Митин прервал молчание.

— Ведь вы, собственно, будете товарищ Жовтынский?

— Да. А разве вы меня знаете?

— Вас-то? Полгорода вас знает, а спрашиваете. А мне тем более вас знать полагается. Из одной же учительской армии мы. Помню вы выступали на учительской конференции.

На лице Жовтынского отразилось напряжение, как у человека, который силится что-то вспомнить. Потом лицо его расплылось в улыбку. Что-то виноватое было в этой улыбке.

— Конференцию помню, а вот...

— Меня не помните? Митин я. Митин.

— Ах, Боже мой! Товарищ Митин! Ну, конечно же, теперь вспомнил. Вспомнил. Как хорошо, что встретились. Это, ведь, вы тотчас же после меня выступали?

— Я.

— Помню, помню. Вы знаете... я все время с тех пор хотел с вами встретиться и поговорить. Вы тогда так чудно выступали про психологию школьника и про воспитание социалистического сознания. Объективно так. Без директив как-то было ваше выступление. Свежо. Запомнилось.

Разговаривая, они пошли к трамвайной остановке. Вспоминали конференцию. Жовтынский извинился, что не мог никак найти времени для встречи.

— Ну, вот видите. Бог свел теперь, — с улыбкой заметил Митин. — Но, все-таки, извините меня, не пойму, как же так вы, лектор

районного партийного комитета, могли сейчас оказаться в этом самом грязном положении, что брюки от слякоти очищаете?

— Да, очень просто. Послали меня в Приваловку лекцию читать, я и ходил. А дороги нынче... сами знаете. Грязь да распутица.

— В Приваловку? Вы? Пешком?

— План же надо выполнять!

Приваловка был поселок, отстоявший от города километрах в шести

— Думали, — продолжал Жовтынский, — мне машину подадут, да специальные мостовые строят? Пожалуйста, дескать, дорогой товарищ, вот вам персональный Форд обтекаемой формы... Напрасно думаете. Мы тоже свой хлеб в поте лица зарабатываем. Вы вот математику преподаете, а мы — партийные науки. Дд-да-с. дорогой товарищ.

Жовтынский вздохнул. Они проходили мимо ярко освещенного магазина «Гастроном». Из магазина выползал длинный, нудный и неподвижный хвост. Хвост переминался с ноги на ногу. Люди вымокли и иззябли. По тротуару сновали прохожие.

— Что это?

— Масло, — хмуро ответили из очереди.

— Будете пристраиваться? — спросил Жовтынский Метина.

— Некогда. Надо на занятия. А вы?

Он с затаенной в уголках глаз насмешкой поглядел на своего высокопартийного спутника.

— Н-не буду. Автомобилей нам хотя и не дают, ну, а уж куском масла-то оделяют.

— В закрытом?

— Да. Хотите вам достану?

Предложение было сделано таким дружеским тоном, так просто и непосредственно, что предубеждение Митина против крупного партработника значительно ослабело. Просто тоже человек оказывается. И грязь тоже месит, как и все, и нужду даже понимает.

— Знаете что? Я к вам занесу. В воскресенье. Идет?

— Спасибо.

До трамвая теперь оставалось шагов триста.

— Я, знаете, товарищ Митин, еще с той конференции... Как-то мне... Извините, что я так прямо... Я, право, от души. Как-то мне тогда в вас что-то человеческое мелькнуло.

Андрей Васильевич вопросительно поглядел на собеседника.

— ...и вот хорошо, что так случайно встретились. Надо вам сказать... — Жовтынский оглянулся по сторонам, — видите ли... относительно вашего мальчика. Это, ведь, ваш в веттехникуме?

— Мой. А что? Хулиганит?

— Н-нет. Не то. Хуже, я бы сказал, — словно едва выдавливая из себя слова, произнес Жовтынский. — Видите ли, я замечаю за ним последнее время... Да, если бы только я, то еще полбеды...

Жовтынский перешел на шопот. Что он сказал Митину, мы узнаем несколько позднее. Подошел трамвай. Здесь была его конечная остановка, и влезть поэтому было можно. Дело было привычным, и Андрей Васильевич, не-

смотря на свой возраст, с ловкостью молодого атлета влетел в открытую дверь, когда трамвай еще на закруглении приближался к посадочной площадке. Здесь в вагон хлынула толпа. Жовтынский помахал Митину рукой. Они расстались.

Митин поехал в институт повышения квалификации. Вечерние занятия здесь происходили в здании педагогического техникума. Сначала Митин давал уроки арифметики стахановцам завода, потом приходили инженеры для упражнений в высшей математике. Занятия эти угоняли Андрея Васильевича. Стахановцы относились к делу без интереса, инженеры приходили на уроки переутомленные и, подчас, едва были в состоянии держать глаза открытыми. Инженер Зарин, начальник цеха, один раз просто заснул. Однако, уроки оплачивались хорошо, и Андрей Васильевич за них держался. Приработок. Кроме того, институт повышения квалификации в некотором отношении приравнивался к ВУЗ-у. Это давало педагогам некоторые преимущества. Временами можно было, благодаря знакомству с крупными инженерами, проникать в закрытый распределитель администрации завода. Стоило трудиться. Между делом создавался блаток насчет папирос, сахара, а один раз даже перепали ботинки. Те самые, что Вася держал над огнем... В общем, стоило переутомляться и недосыпать.

В этот вечер, во время уроков Андрей Васильевич был рассеян. Сверлила мысль, словно какая-то опасность нависла над ним. То, что сказал ему Жовтынский, не выходило из голо-

вы. Объясняя ученикам формулы и задачи, выходя с ними уравнения и рассуждения о бесконечно малых, он, то и дело, покачивал головой и произносил про себя: «Эх, мальчик, мой мальчик!»

Но часы шли и прошли. Когда Андрей Васильевич, после уроков вышел на улицу, стало основательно подмораживать. Снег уже не таял, падая в весеннюю грязь, но одевал ее чистым покровом. Мороз, впрочем, не был настолько силен, чтобы заморозить лужи, и они выделялись на фоне чистой заснеженной улицы, как зияющие черные раны.

А сверху снег все падал и падал. Его легкие хлопья заполнили все пространство в воздухе. Они роились возле электрических фонарей, как летом вокруг лампы роятся комары и ночные бабочки. Где-то за облаками светила луна, придавая всему пейзажу своеобразный колорит. Вспоминался Пушкин: «...невидимкою луна освещает снег летучий...»

По знакомой, много раз хоженной дороге, Андрей Васильевич быстро дошел до дому. Трамвая решил не ждать. Они и днем были не часты, а ночью и подавно. Да и идти от трамвая, все равно, оставалось достаточно. Лучше пешком. Вернее. Подходя к дому, настороженно всматривался. Он ждал, что в Васином окне будет свет, который обычно отражался на стенке противоположного сарая во дворе, и отражение бывало видно через забор с улицы. Но было темно.

— Может быть, спит уже?

Скрипнула калитка. Торопливыми шагами Андрей Васильевич поднялся на крыльцо. Вошел в уже знакомый нам коридорчик. Остановился. От соседей с одной стороны слышался обыденный разговор. Сосед с другой стороны шагал по своей комнате, резко отбивая каблук. («Мог бы потише...» мелькнуло). Дома было темно. Митин открыл дверь, вошел в темноту комнаты и прислушался. Из левого угла, где стояла за перегородкой их кровать, доносилось спокойное дыхание жены. Анна Митрофановна спала.

Ночь становилась светлее. Откуда ни возьмись налетевший ветер разорвал облака, луна осветила холодную весеннюю ночь. Лунный свет проник в комнату. Все предметы были отлично видны. Можно было не зажигать лампы. Андрею Васильевичу не хотелось беспокоить сон жены. Он заглянул к Васе за его перегородку, надеясь увидеть его в постели. Сына не было. Андрей Васильевич нахмурился.

— И где шатается! — досадливо произнес он.

Но делать было нечего. Надо было ложиться спать. Нагромождение тарелок на столе, однако, привлекло его внимание. Чиркнул спичку, прочел послание жены. Улыбнулся и решил подчиниться. Разогревать, разумеется, ничего не стал, а, присев к столу, наскоро «перехамкал», как он любил говорить.

Стук шагов соседа прекратился. Слышно было, как скрипнула его кровать. Видимо, ложился спать человек. («Бирюк!» — подумал Ан-

дрей Васильевич про соседа). В самом деле, Федор Львович, живший в соседней комнате, был человек нелюдимый. Утром ходил на работу на какую-то фабрику, вернувшись, подолгу сидел за книжками, иногда постукивал какими-то инструментами, а то — шагал из угла в угол, особенно, вернувшись домой в те вечера, когда ходил в театр. Гостей у него не бывало. К Митч-вым иногда заходил попросить кипятку побриться, одолжиться табачком и если задерживался, то минуты на две, как бы намеренно стараясь не вступать в разговор. Федор Львович быстро захрапел. («Эк его! Заливисто как!»). Поев холодной каши и выпив воды с хлебом, Андрей Васильевич на минуту задумался. Скрутил собачью ножку, закурил.

— Где же мальчик?... Что с ним?... Боже мой, Боже!...

И когда он, задумавшись, сидел за столом, из открытой форточки прозвучало ласковое воркотанье. Потом что-то хлопнуло об пол, потом твердая эластичная спинка кота Саньки огладила его по ноге, зацепила крепко выгнутым кверху хвостом. Андрей Васильевич опустил руку на спинку зверька.

— Что, Санька? Март месяц?

Потом он прошел за загородку к сыну, включил лампочку, приспособленную над его столиком, и написал на краю газеты: «Бобка, непременно нужно с тобою говорить. Спешно. Папа». Выключил лампочку и отправился спать.

А сын в это время прощался с Верочкой у калитки ее дома.

— Н-ну... До свидания.

Она чуть-чуть задержала его руку в своей.

— Когда?..— спросила она.

Это было замечательно. Васькино сердчишко сказало ему что-то. Что-то очень веселое и радостное. Условились о встрече завтра. Попрощавшись с Верой, Василий «попагал» домой. На душе у него было легко и радостно. Он чувствовал, как у его сердца выросли большие, большие белые крылья.

Путь лежал через центр. Васе надо было проходить мимо главных зданий города. Миновав горсовет и партком, пересекши городской сквер, посередине которого еще лежала куча щебня от разрушенного собора, Вася свернул влево. И в этот момент из-за облаков выплыла луна и осветила высившееся здание НКВД. Несмотря на то, что дом был недавно выстроен, на нем велась надстройка. Верхний этаж был опутан лесами, которые еще не успели убирать, а над ними высилась белая стена. Сейчас она была заснежена и сверкала, отражая свет уже неполной луны. Было на ущербе.

«Если предприятие не расширяется, то оно обречено на умирание» — мелькнула в Васиной голове фраза из какого-то учебника экономики.

— Д-д-д-а.. — протянул он и глубоко вздохнул.

Тротуар возле здания был запружен женщинами. Жены арестованных. Вася перешел на другую сторону, чтобы не касаться толпы. Он не был в состоянии ощутить всей трагедии того,

что было перед его глазами, но даже при том, что он чувствовал себя к ней непричастным, глядя на толпу жен арестованных, он забыл, что у его сердца только что были большие белые крылья.

— «Жены ИТР»... — произнес он сам себе с печальной иронией.

Гримаса скорби и недоумения скользнула по его лицу. В сознании мелькнула Пупкинская фраза, слышанная на лекции: «И я мог бы...». Мало известная фраза из дневника поэта, подписанная им, как утверждают советские авторитеты, под рисунком виселицы в те дни, когда до него дошла весть о казни декабристов.

«И я... мог... бы...»

Под ногами хрустел ледок. В ясном небе висела криволикая луна, плыли облачка. Залтра должна была быть хорошая погода.

Придя домой, Вася, с помощью перочинного ножа поднял внутренний крючок... Для этого нужно чуть пожать дверь, просунуть нож в образовавшуюся щель и поддеть крючок... Переступив порог, Вася прислушался. Папа и мама крепко спали. Чтобы их не беспокоить Вася на носках пробрался за свою загородку, быстро разделся, лег и заснул, едва успев коснуться ухом подушки. В темноте он не видел записки, оставленной ему отцом. Через минуту к нему на ноги вспрыгнул кот. Кот свернулся клубочком, помурлыкал и тоже заснул. В дом пришел покой.

Попрощавшись с Васей, Верочка вошла во двор. Хотя подморозило достаточно, лужу при-

пилось обходить. Двери не были заперты на крючок. Соседка еще не спала. Вера вошла. В комнате было тепло, а на душе у Веры весело. Она изглянула на часы. Половина первого. Тянуло в постель. Вера, видно, колебалась, не зная, как ей поступить. Потом она отвернула одеяло и стала раздеваться. Из соседней комнатки доносилось ровное, спокойное дыхание. Мама спала. Однако, Вера еще спать не легла. Словно пересиливала сама себя. Дело было в том, что перед нею была еще одна обязанность. Выполнить ее было обязательно, как бы крепко ни хотелось спать. Обязанность состояла в том, что нужно было выстирать белье. Девушка она была чистоплотная и ходить в нестиранном не любила. Она вышла в коридорчик и тихонечко постучалась к соседке.

— Не спите?

— Нет еще. Только ложусь.

— Евдокия Антоновна, нет ли у вас немного теплой воды?

Воды не оказалось. Пришлось на пыпочках войти в мамину комнату, взять ведро, накинуть на плечи платок и идти за водой. Колодец был во дворе. Полкан, спущенный на ночь с цепи, крутился у ног девушки, пока она цепляла ведро за крюк. Потом повернула ворот, и он громко скрипнул — «А-а-ах»... Его скрип ясно прозвучал в морозном воздухе весенней ночи. Ведро быстрее и быстрее опускалось в колодець, и аханье ворота слилось в ритмические быстрые вздохи. «а-а-ах, а-а-ах, а-а-ах... шлеп!» Ведро дошло до воды.

Если бы только Вера знала, в какой чудной живой картине она сейчас играла главную роль. Тонкий, весенний чистый снег устлал широкий двор и крыши и сверкал всеми блестками в лучах луны. Заснеженная береза низко наклонила свои гибкие ветви. Глубоко навешенная над домиком крыша бросала на его бревенчатые стены синеватую тень. На фоне домика стояла белокурая девушка. Платок сполз с ее головы. Она смотрела вверх. Художника бы сюда! Со всеми его палитрами, кистями и красками! Вера взглянула на роскошь природы, вздохнула полной грудью и в восторге замерла.

— Боже! До чего же хорошо!

На пожарной каланче пробило час. Вера заторопилась.

В маминной комнатке она поставила на печь кастрюлю с водой. Подложила поленце дров (в печи еще оставался жар), а сама вернулась в свою комнату и принялась читать учебные записки. Когда вода согрелась, — на это ушло минут двадцать, — она поставила табуретку, на ней утредила тазик и налила в него воды. Затем сняла с себя одежду и, оставшись в одних трусиках и лифчике, окунула только что снятое с себя белье в воду. С грустью посмотрела на мыло. «Быстро тает».... Принялась стирать.

Каждый день стирать все у нее не хватало мужества, но так, через день, она выдерживала. Один день стирала трусики и лифчик, другой — рубашку и чулки. Нынче очередь была за рубашкой. Потом она сполоснула ее и повесила на веревочке у мамы в комнате над печкой. К

утру должно высохнуть. Так вот можно жить в чистоте, даже не имея пары белья на смену. Так и жили.

Потом Вера вышла на крыльцо, выплеснула воду.... только черное пятно расплзлось по чистому снегу. Вернулась в комнату, юркнула под одеяло. Сон не заставил себя ждать. Покой пришел и в этот дом.

Покой распростер свои мягкие крылья над всем городом. Дремала очередь женщин, дежуривших у мануфактурного магазина. (Сведения точные: привезли, разверстали и завтра будут давать. По два метра в одни руки). Металась толпа женщин возле здания НКВД. Женщины вдруг шарахнулись в стороны. Из ворот выкатился легковой открытый «ГАЗ-ик». В нем сидело два человека. «Газик» покатился вдоль по проспекту Карла Маркса и свернул на улицу Ленина. Автомобиль остановился на углу перекрестка, а человек, вышедший из него, отыскав нужный ему номер, открыл калитку, вошел во двор и поднялся на крыльцо.

Однако, напрасно ждать, что сейчас последует сцена трагедии ареста. Митины не относились к числу людей, чем либо замечательных. До революции они не были богаты. Во время гражданской войны они жили в районе, которого она не коснулась. Гражданская война чету Митиных как-то не заметила. В партии Андрей Васильевич никакой никогда не состоял. Не брал его энтузиазм ни белый, ни красный, и был он обывателем; обыкновенным, серым обывателем. В общественную деятельность он, правда, однажды окунулся.

Было это тогда, когда церковные организации создали Общество Помощи Голодающим. Он собирал средства, вел учетную работу Общества и делал это ради помощи голодающим. Но как только эта церковная деятельность вылилась в репрессии советской власти против этих же церковных комитетов, Митин оробел и счел за благо немедленно уехать из того города, где это происходило. Втроем они переехали в Вожеград, где у Анны Митрофановны был брат, теперь уже скончавшийся. В Вожеграде они повели незаметный образ жизни. Будучи человеком остроумным и внимательным, Андрей Васильевич сообразил, что единственным средством самозащиты в сложившихся условиях, было молчание и бездействие. Так он себя и повел, и репрессии, которые волнами перекатывались по русской земле, его ни разу не коснулись.

Однако, Митин имел смелость думать. Его мысль постоянно была занята попыткой дать себе отчет о происходившем и происшедшем, и он не всегда был уверен, что ему удавалось это мысли твердо сохранить про себя. Митин сознавал, что за ним ничего политико-криминального не числится, но, видя что происходило вокруг, он понимал, что и его дни не все ему принадлежат. Он отдавал себе отчет в том, что в одну из ночей и он может подвергнуться аресту и страшной неизвестной участи, скрывающейся за стеной большого серого дома, на котором велась надстройка. По этому он не был равнодушен к стуку автомобильного мотора ночью.

Сквозь сон Андрей Васильевич слышал, как проезжал автомобиль. Это вызвало какое-то ди-

новинное сновидение. Но сон его был так крепок, что проснуться он так и не смог. Он не слышал ни скрипа шагов по ступеням их крыльца, ни разговора в соседней комнате, ни удаляющихся потом шагов приходившего.

III. УТРО

(Часть 1-ая)

Пробудившись утром, Андрей Васильевич старался вспомнить какой-то тяжелый сон, якобы приснившийся ему... но не мог. Так и не вспомнил.

Ни Анна Митрофановна, ни Вася не слышали ничего.

Митены вставали одновременно, если не считать Васю, у которого занятия в техникуме начинались позже. Отец и мать торопились одинаково. Друг другу поливали воду из чайника на руки при умывании, потом тот же чайник снова наполнялся остатком воды из ведра и ставился на примус. Анна Митрофановна готовила чай. Андрей Васильевич едва успевал сходить за водой на угол к водоразборному крану и вернуться, как чай уже был готов. Они торопливо пили, закусывали черным хлебом и отправлялись на работу. Он — в одну из школ, она — в райконтору «Заготзасол и т. д.». Расставшись

утром, они встречались только поздно ночью, да и то лишь в те редкие дни недели, когда у Андрея Васильевича не бывало занятий в Институте Повышения Квалификации.

За утренним чаем они успевали обменяться несколькими словами. Анна Митрофановна беспокоилась о деньгах. Их нужно было достать поскорее, прежде чем Попов будет готов к отъезду. Разговор о деньгах и о возможности, что Попов что-нибудь действительно привезет из Москвы, был таким оживленным, что они не заметили, как наступило время идти. Торопливо оделись, заглянули за перегородку, где спал сын, послали ему воздушный поцелуй. Анна Митрофановна взяла свою «единую стройную систему» кастрюлек и авоськи, Андрей Васильевич пересмотрел свой портфель, и они вышли.

День обещал быть чудесным. В синем небе не было ни облачка. Косые лучи яркого утреннего солнца кое-где отблескивали в окнах. Солнце еще не успело разогреть воздух и вечерашний снег нетронутым лежал, как выпал вчера ночью. Похрустывали под ногами льдинки. Дышалось легко. Супруги шли молча. Только Андрей Васильевич время от времени про себя восклицал: «Что же такое это было? Что-то я хотел сказать очень, очень важное?» Когда Анна Митрофановна уже была на подножке трамвая, когда трамвай уже «отчалил», Андрей Васильевич хлопнул себя по лбу. «Вот оно, что было нужно!».. Припомнились то ли во сне, то ли въяве пригрезившиеся ночью шаги, стук автомобиля... Потом словно обухом по голове

стукнуло: с сыном так и не поговорил. Но возвращаться было уже поздно. Опаздывать в школу было нельзя. Закон грозил тюрьмой.

*

Вася просыпался поздно. Он с интересом подумал над запиской отца.

— О чем это папе нужно так спешно со мною говорить?

Вася недоумевал и встревожился. Разумеется, он воспринял записку отца по-мальчишески. Он почувствовал прежде всего робость. Ту робость, которую испытывал в годы сознательного детства, когда, напроказив, он ждал отцовского: «Бобка, надо с тобою поговорить!», а подчас и просто без разговора подвергался распеканию или вздрючке. Детский страх перед розгами был давно забыт, но подсознательное, физически осязаемое чувство почтительности и страха перед неминуемой ответственностью было живо в Васином сердце. Вот и сейчас он стал перебирать в памяти свои проделки... но их не было. Потом вдруг мелькнуло: «Вера!»

Василий еще ни разу ничего не говорил с родителями о ней. Что если отец захочет знать об этом? И, задумавшись, он не нашел в себе страха. Наоборот. Ему стало тепло на душе от мысли, что он сможет говорить с отцом о своих отношениях к девушкам, сможет говорить о Вере.. И уже улыбаясь, он стал мысленно готовиться к этому собеседованию. И оно не казалось ему уже ни страшным, ни, как он говорил, «позорным».

отцовскую записку, время шло. Радио переходило к своим очередным пунктам дневной программы. Радио с успехом заменяло часы. Часов в доме не было.

Вася встрепенулся и быстро стал одеваться.

В расписание и в число его обязанностей по дому входила забота о дровах, о печке и разогревании обеда. Последнюю «функцию» он выполнял, вернувшись из техникума. Наколоть же дров надо было с утра.

В воздухе уже становилось тепло. Вчерашний снежок легко таял, и когда дрова падали под ударами топора, брызги летели во все стороны. Вася работал с азартом. Несмотря на то, что топор поминутно соскакивал с топоряща, несмотря на то, что не обо что было «стукнуть, как следует», возле него вскоре образовалась горка, достаточная на завтра и послезавтра. Собрав щепки из снега и луж, он стряхнул с них мокреть, навалил дрова на левую руку, кинул топор в сарайчик и одной рукой навесил и защелкнул висячий замок. Делать это все было неудобно. «Мерзко», — как говорил Вася. Потом он подобрал щепки, сложил их поверх охапки и, перепрыгивая через лужи, разлившиеся по всему двору от тающего снега, поторопился в комнаты. На его устах была улыбка и его постоянное шуточное приговенье: «Вот дровяная проблема у нас, товарищи, и разрешена. У нас раньше не было дров, теперь они у нас есть».

Солнце поднималось все выше и выше, и день нисколько не собирался ни хмуриться, ни портиться как-нибудь иначе.

«Весна, кажется, всерьез. Здорово!» — восклицал Вася про себя.

День, действительно, был чудесный.

Пришел в комнату и грохнул дрова об пол. Но, проходя по коридорчику он обронил одно полено и теперь за ним пришлось вернуться. И вот, когда он поднял поленце, легкий шум заставил его оглянуться на дверь соседа по квартире. Федор Львович, тот самый, что давеча ходил из угла в угол, возился возле своего висячего замка.

— Добрый день! — весело бросил ему Вася.

— А, Вася. Здравствуйте, голубчик..

Что-то странное в самом тоне голоса говорившего заставило Васю насторожиться. Уже стоя в открытой двери своей комнаты, он обернулся в коридор и, вопросительно глядя на соседа, спросил:

— Вы что же? Решили на работу не ходить сегодня?

В это время Федор Львович издал раздраженное восклицание, рванул замок, так что петли вылетели.

— Все равно! Наплевать! Псу под хвост!

— Что с вами, Федор Львович?

Вася понял, что в соседом что-то случилось. Что-то важное. В самом деле, Федор Львович был вне себя. Он был бледен. Глаза были красными от бессонницы, губы нервно дрожали,

и где-то в уголках глаз мелькала складка безграничной злобы и решимости.

— Уезжаю я. Вот что.

— Вот та-а-а-ах... — протянул Вася. — Что так вдруг?

Федор Львович вопросительно взглянул на Васю.

— А вы не слышали, разве, что было ночью?

— Нет. Я спал. Крепко спал.

— Вот.

Сосед показал Васе бумажку. На ней крупными буквами было написано: «Повестка».

— Вот и иду. Уезжаю.

Вдруг он сильным движением увлек Васю в комнату Митиных. Держа юношу обеими руками за плечи и глядя ему прямо в глаза, он заговорил приглушенным голосом. Говорил торопливо, отрывисто.

— Запомните, молодой человек, этот день на всю вашу жизнь. Пусть об этом знаете только вы, да я, да Господь Бог, если Он может смотреть на весь этот ужас. Слушайте: «Пусть они будут прокляты от Бога, от меня, ото всего народа, ото всего живого!»... Был я честным русским человеком.. — Вася стоял, оторопело глядя на бледное лицо перед ним. — Что же? Чести они меня лишили? Э, нет! Я выдержал. Выдержал. Зайцем они меня сделали. Меня, русского человека сделали зайцем на моей русской земле. За что? Украл я? Убил кого?.. Всего только под их мерку не подходил. Да и подходить не собирался. Думать себе позволял. Думаль. Хотите вы живы остаться? Не думай-

те. Не думайте, а то станете говорить. Мысль, она упряма. Она просится наружу. Вот и я. До Нарыма додумался. Только случай от расстрела спас. Пять лет... Как я уцелел? Не знаю. Другие гибли. Гибли физически, а иные морально. Я выжил. Вышел на волю. Г-м... Волю!... — Федор Львович криво усмехнулся. — Они называют это волей. Скрылся. Затер следы. Профессию переменял. Тихо работал и жил. Думал и молчал. Только бы молчать. Примириться был готов. Я готов был примириться с этими негодьями! — Последние слова он произнес с гневной иронией к самому себе. Помолчал. Пауза продолжалась секунду. — Но видно где-то каким-то замечанием себя выдал. Не сумел молчать. Докопались. Вот вызывают.

Он весь дрожал от нервного напряжения. Сел на табуретку, резким рывком достал табачницу. Закурил. Перед его глазами в мгновении мысли пронеслось прошлое.

ІУ. ТОВАРИЩ ИЗ ЦЕНТРА

Федор Львович вышел из вагона на безлюдную платформу. Поезд, которым он только что приехал из города, неожиданно быстро отправился с полустанка. Сердце вдруг сжалось от пронзительного чувства одиночества.

Неожиданная оттепель конца января осадилла снега, обнаружила навоз на дорогах, ка-

завшихся такими белыми и чистыми в зимнюю стужу. Сейчас площадка между путями и станционным домиком была залита талой водой. Дул мягкий, влажный юго-западный ветер. Он, то и дело, срывал с неба брызги дождя.

Ступая прямо по лужам и балансируя по скользким бугоркам льда, Федор Львович вошел внутрь вокзальчика. Расспросив здесь о дороге, он вышел на широкую базарную площадь, лежавшую между станцией и слободой. Перед ним лежал поселок Давыдовка. Сумерки приближались, но было еще светло и, несмотря на легкий туман, все было отчетливо видно. Площадь была безлюдна. Только на одном из путей полустанка группа крестьян была занята погрузкой на вагон-площадку каких-то кусков бесформенного железа. Слышались крики и брань. Еще какая-то группа стояла возле здания церкви, о чем-то громко между собою споря.

Среди ряда мелких крытых соломой домиков выделялось какое-то двухэтажное каменное здание. Очевидно лавка. Тянулись длинные плетневые заборы. Кое-где над воротами дворов были большие вывески. Церковь, стоявшая в центре площади, показалась почему-то огленной. Федор Львович не понял почему... Среди немногочисленных вывесок он увидел одну, где по одну сторону была нарисована курица, а по другую — кучка яиц. Здесь же было написано что-то про советский трест и про птицу. В правом верхнем углу вывески мелкими четкими буквами стояло: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пройдя в эти ворота, Фе-

двор Львович оказался во дворе яичного склада и птицебойни. Тыловая сторона вывески говорила о еще недавнем прошлом. Полусмытые дождями и перевернутые кверху ногами буквы гласили: «Яичный склад бр. Филипповых». Из построек в глубине двора слышалось кудахтанье кур. Тотчас вправо было крылечко, ведущее в контору. Поднявшись по ступенькам и переступив порог конторы, Федор Львович остановился.

Человек в кожаной куртке перетянутой через плечо ремнем от кобуры, стоял спиной к входной двери, громко говорил по телефону. Очевидно, его перебивали, так как он поминутно то вопросительно, то повелительно кричал: «Чигла?.. Чигла?.. Чигла!.. Чигла!.. Центральная, не перебивайте! Говорит товарищ Савельев...» Разговор шел о том, что распутица может помешать, почему он, товарищ Савельев, прибудет в Чиглу, очевидно, с каким-то опозданием.

В углу конторы был еще средних лет крестьянин, возившийся около печки. Сторож. Дрова ярко горели, и искры снопами вылетали из жерла печи, когда подброшенное полено попадало на горевшие угли. Крестьянин взглянул на вошедшего и, в ответ на его вопросительный взгляд, большим пальцем через плечо показал на того, кто говорил по телефону. Наконец, тот повесил трубку, дал отбой и сел на стул к письменному столу. Федор Львович подошел и, выложив на стол командироеское удостоверение, назвал себя по фамилии.

— Я — товарищ Савельев, — отряхивалась кожаная куртка. — Вы, товарищ, как

нельзя более кстати. Во-время. Здесь каждый человек сейчас на вес золота. Каждый...

Савельев был взволнован. Его маленькие черные глаза пронзительно глядели на Федора Львовича, не останавливаясь ни на чем ни на одно мгновение...

— ... мы здесь, как на войне. Как на войне. Всюду классовый враг. Каждый городской товарищ — наше подспорье. Вы надолго сюда? На постоянную работу?

Федор Львович объяснил, что командировка его очень краткая. Суть ее состояла лишь в том, что он должен был на птицебойне перебрать птицу и отсортировать кур, пригодных для рассадников, птицу отгрузить в совхоз и ехать на следующую птицебойню.

— Жаль, что не надолго. Как нужны люди. Как нужны! Я с ног сбиваюсь. А с птицей это мудро. О, партия знает, что делает. Ведь эта сволочь ведет массовый убой скота и птицы. Не хотят сволочи, чтобы колхозам досталось. Мелкий собственнический инстинкт. Ну, все равно, будет по-нашему. С-с-сволочи, — процедил он еще раз сквозь зубы. — Имейте в виду, товарищ, мы здесь с вами есть представители советской власти... Как они озлоблены. Как озлоблены! А кулачье еще подзуськивает.

На мгновение Федор Львович почувствовал себя огорошенным. Не прошло и полугода с того дня, когда его шельмовали, как врага советской власти. При чистке удалось удержаться лишь при помощи легкого подлога. Принадлежит к той части русской интеллигенции, которая была гонима советской властью, он никак

не ждал, что может оказаться представителем этой самой власти и мишенью контрреволюционных настроений деревни. В его представлении крестьянин был грабителем усадеб, привилегированным человеком советского времени. Видеть теперь «кожаную куртку» в роли воителя против крестьян... просто не укладывалось в голове.

Пробежав еще раз текст командировочных бумаг Федора Львовича, Савельев вдруг обратил внимание на то, что сторож внимательно глядел в окно.

— Что там такое?

На дороге близ окна, между тем, происходило следующее: группа крестьян окружила сани и пыталась помочь лошади. Тяжело груженые сани со снега понали на талую навозную дорогу и вперед подаваться не желали. Двое крестьян изо всех сил нахлестывали бедное животное. Кто-то пытался подвести рогатину, чтобы рычагом сдвинуть сани. Крики усиливались.

— С-с-сволочи. Лошадь убьют. Теперь она им не своя, так можно избивать, — пробормотал Савельев, стремительно выбегая из конторы..

Из окна было видно, как он подбежал к крестьянам, властным окриком заставил перестать избивать лошадь и толково принялся распоряжаться.

— Вишь ты. Энтузиаст. Это он про себя так говорит, — пробормотал про себя сторож. — Один везде поспекает. А зачем?..

Когда Савельев распорядился возле саней, крестьяне перегруппировались и Федор

Львович смог увидеть, чем сани были нагружены. Это были неправильной формы куски железа. Груз явно был не по лошади.

— Что это?

— А это, вишь, колокола снимали с церкви. Сам Савельев снимал. Везде поспевают. Безумный. На куски побили, да вот теперь на погрузку возят.

И вдруг стало тихо. Странное, безотчетное чувство грусти и оскорбления наполнило душу Федора Львовича. На что?... На что это было похоже?... Он пытался всматриваться в куски металла, чтобы убедиться, что это действительно куски колокола, пытался сообразить — в чем его чувство, как вновь услышал за спиною голос сторожа.

— Так-то вот, помню, мы смотрели на санки, когда на них гробик нашей мамушки ставили. Сердце, ведь, сжимается, а помочь не-как...

Сердце сжимается. Вот что. Понадобилось большое усилие воли, чтобы подавить ком, подкатившийся к горлу, чтобы и голосом не выдать волнения.

— Социализм строишь? — обратился Федор Львович к сторожу. — Вот из колокола трактор сделают.

— Ну, ну.. Грех, он без наказания не бывает, — помолчав добавил сторож.

— А это к чему же?

— А вон видишь, товарищок, ту вон березку?... На ней в революцию помещикова сына повесили напн мужички-то. А теперь им колхозы.

Федор Львович удивился, подумав: «Странно как! А моего отца крестьяне прятали от карательного отряда». Сознавая необходимость держать тон представителя советской власти, заставил себя ответить:

— Ну, то прошлое. Что прошло, того не вернешь. Нынче зато, вот, социализм строим.

— Ну, стройте. Поглядим, что получится...

Сторож отвечал неохотно и равнодушно, видимо думой углубляясь во что-то, что было далеко и от конторы птицебойни, и от строительства социализма. Его взор был устремлен на обломки колокола. В его бороде сверкала капелька. Слеза.

— Безумный. Безумный он и есть. — бормотал сторож, глядя в окно, как Савельев энергично командовал крестьянами. Уже подвели рогатины, уже влегли в них плечами, уже санки сдвинулись; еще немного и лошадь, подбадриваемая кнутом и окриками, влегла в хомут и потянула.

— Почему «безумный»? — отозвался Федор Львович.

— Потому что в Писании сказано: «Рече безумен в сердце своем — несть Бог». Это про Савельева и есть.

— Н-я-н... Д-дда... — протянул Федор Львович, не зная, как реагировать.

Последовала пауза. Федор Львович пытался сообразить обстановку. Но думать долго не пришлось. Быстро и по деловому расставив людей, убедившись, что дальше лошадь потянет, Савельев вернулся. Они вместе с Федором Львовичем стали обсуждать порядок работы.

Они обошли здание откормочного помещения. Савельев дал указания рабочим, чтобы оказать помощь «товарищу из центра», и чтобы исполнять все его распоряжения по выполнению приказа партии, правительства и лично товарища Сталина, приказа о спасении поголовья от кулацкого уояа. Птицебойни в то время, действительно, были перегружены, так как крестьяне сбывали все, что могли. Они в последние дни пользовались своим имуществом, как находили удобным.

Сам Савельев должен был вскоре уехать в село Чигла по «спецзаданию». Когда он говорил об этом, он не смотрел в глаза.

Отбраковка птицы производится ночью, когда птица спит.

— ... Так что до полночи у вас есть время отдохнуть. Андреич вас отведет на ночевку в одну здесь избу. К утру я вернусь и мы заактуем. Гей, начетчик! — обратился Савельев к сторожу конторы. — Отведешь товарища из центра к Сидоренкам. У них поудобнее... И имейте в виду, — произнес он многозначительно в минуту, когда они остались с глазу на глаз. — Мы с вами здесь есть партия. Мы во вражеском стане. Не доверяйте им. Я говорю по опыту. Город еще не знает всего, что здесь теорится.

Федор Львович, действительно, заметил, что рабочие птицебойни провожали Савельева взглядами плохо скрываемой враждебности.

С этим они попрощались.

— Что он вас так странно назвал? — спросил Федор Львович сторожа, когда тот провожал его к месту ночлега.

— То есть как именно?

— Начетчи́ком.

— Да меня здесь все так кличут. Я не обижаюсь. Я и есть в Библии начетчик. Я им правду в глаза говорю.

— То-то вы и мне..

— И вам, товарищ из центра, тоже скажу. У вас, конечно, в городе этого не понимают, а только, что сказано, то сказано... и исполнится, — закончил он вдруг с удивительной убежденностью.

— Что же?

— «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешивши перед Богом нашим, от того и произошло достойное удивления. Но не думай остаться безнаказанным ты, дерзнувший противоборствовать Богу», — процитировал крестьянин*).

— Это вы на память?

— Да, память хорошая, слава Богу. Это из Маковеев. В Библии все сказано. Все!

— Может быть... — произнес Федор Львович вздохнув.

— Ну, вот и пришли.

Андреич, он же начетчик, постучался. Им открыла женщина того типа, что в деревнях зовут молодайками. Хозяева отвели Федору Львовичу «светличку». Здесь он остался один.

*) 2 кн. Маккавеев, гл. 7, ст. 18.

Между тем свечерело. Ветер переменился и погода обещала крепкий мороз.

В углу «светлички» стояла большая кровать, устланная пестрыми перинами и с пирамидками подушек в голове и в ногах. Был столик дешевой городской работы и большой крепкий некрашенный стол. Подле него была лавка. У печки за дешевенькими обоями шептались тараканы. От печки шло тепло. Было тихо и уютно. В углу над столом были иконы, однако, слой пыли на них свидетельствовал, что иконы не составляли предмета интереса хозяев. Лампадка, висевшая перед иконами, была тоже покрыта пылью, и огонька в ней не было. «Молодайка» внесла большую яркую керосиновую лампу, поставила ее на стол и, обещав разбудить к полуночи, тихо удалилась. Ее ноги, обутые в валенки, шагали совсем неслышно.

Оставшись наедине, Федор Львович закинул крючок у двери и, спокойно усевшись на лавку подле стола, задумался. По молодости лет, он не мог дать себе отчета во всех чувствах, которые его взволновали за эти короткие часы, проведенные в непривычной деревенской обстановке. Он перебирал все впечатления, пытаясь хотя бы закрепить их, чтобы потом, со временем, сделать им, как он выражался «анализ». Вот перед ним всплыла картина деревенской площади и церковная колокольня, показавшаяся ему оголенной. Тотчас же всплыли перед глазами сани с осколками колоколов. «Мамушкин гробик на санки ставили»... Резнуло по сердцу. Вот почему колокольня была оголенной! И вдруг слова Савельева: «Мы с

вами во вражьем стане. Мы представители партии». Федор Львович пожал плечами. Его передернуло. «Ты-то, может быть, здесь и враг, а я-то при чем же?..»

За черным окном дул холодный ветер. Капель с крыши еще продолжалась, но по стеклу уже побежали стрелочки морозных узоров.

Еще раз убедившись в том, что дверь задета на крючок, Федор Львович порылся в своем портфеле. Из под полотенца и газетного свертка с мылом он достал салфетку, где были кусок хлеба, круто сваренное яйцо, соль. Принялся за ужин. Еще глубже в портфеле лежали книги. Положив их перед собою, он стал читать, одновременно откусывая и прожевывая хлеб. Крошки падали на книгу. Это была брошюра Ленина «Что такое друзья народа, и как они воюют против социал-демократов». Друзья народа клались сверху. Эту книгу он предназначал лишь к тому, чтобы скрыть от посторонних взоров нижнюю книгу, которую он, собственно, читал, открывая строки то снизу, то сверху. Находясь вне дома он принял все меры предосторожности. А вдруг.. То, что он читал, был сборник записок из дневников и проповедей о. Иоанна Кронштадтского.

За стеной была слышна жизнь. Вот кто-то засмеялся. Вот кто-то грохнул об пол охапку дров. Вот слышится детский плач. Вот мать баюкает ребенка. Время шло. Федор Львович читал:

«Ныне страшное время безверия и отступленія от Бога, время потрясающих беззаконий всякого рода; многие люди обратились

нравственно в диких зверей или злых гениев или духов. Нет для них ничего святого...»

Мелькнуло лицо товарища Савельева. Глазки бегают. Колют. Что же это за «спецзадание»? Ну, хорошо... «ныне»-то это видно и мне. Когда же было вот это «ныне», ради которого написано?... Федор Львович открыл страничку с датой выпуска книги. Отпечатано в 1908 году. А сказано-то еще раньше... Значит, уже и тогда это было. Там цветочки — нам ягодки... «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Где это сказано?... А семена-то когда же?... Эх, семена бы выдрать!

В дверь тихонько постучали. Федор Львович вздрогнул. Быстро спрятал книгу и отошелся.

— Сейчас.

Кутаясь в теплый платок, в дверях стояла «молодайка». Старик-отец приглашал товарища из центра откусать чайку. Было часов восемь и, сообразив, что время для сна еще останется, Федор Львович решил воспользоваться приглашением. Да и было любопытно. Новые люди. Новые впечатления.

— У нас мед очень отличный, — говорила молодая хозяйка. — Отец-то вон какую паеку держал...

В углу — иконы, но без огонька лампы; они не давали тепла и казались ненужными. На стенке — Ленин и Сталин. В углу — колыбель свисавшая с потолка на прочном канате. Чисто в комнате. Повсюду довольство, о котором, как говорится, свидетельствовала каждая вещь, каждая лавка, каждый предмет

из простой мебели, включительно до кадучки для помоев, стоящей в углу подле рукомойника. Да и рукомойник блестящий, медный, крепкий, массивный. Стол прост, но обилён. Шипит самовар. Хорошо!

Они жили втроем: старик, дочь и младенец внук. Зять был в армии. О нем сообщили с гордостью — служит в особых войсках ГПУ и остался на сверхсрочную. Полюшка собиралась летом уехать к мужу. Старик был крепким хозяином. И раньше жил безбедно, а после революции, когда земли прибавилось, и вовсе зажил. Он как поэт говорил о работе. Когда же заговорили о тракторах, во всей его натуре почувствовался мастер своего дела: хозяин. «Ах жеж и машина этот трактор!..»

Видно, человеку редко приходилось говорить со свежими людьми, и он не удержался от воспоминаний. Вспоминал «гражданскую». «Мы с товарищем Буденным...». Товарищ из центра должен был рассказать о новой политике. Федор Львович отделивался тем, что, мол, строим социализм. О политике ликвидации кулачества, как класса, он отозвался с симпатией. Но наивности он понял, что теперь будет отменено разделение крестьян на кулаков и бедняков, и что все будут объединены в колхозы на равных правах.

Старик задумался. Покрутил головой. Что-то тревожное и беспомощное промелькнуло в его голосе, когда он пожаловался, что его все в кулаках числят: жаловался на Савальева. Собирает, дескать, в колхоз самых непутевых, а настоящих хозяев отгоняет. Какая-то неизвест-

ность висела над стариком. Что-то было не так... Поговорили и о том событии, которое взволновало слободу: снятие колоколов. Полюшка заинтересовалась, сняли ли уже колокола в городе? О снятии колоколов старик отзывался одобрительно. Тирада его была длинной. Больше всего он пенил труд. Тираду свою он закончил: «...а то что? Я работаю, а пои что? Пои только «паки и паки», а я ему за то неси?.. Не-е-ет! Были дураки, да все выпли!»

Выпив стакан чаю, в первый удобный момент Федор Львович поблагодарил и, сославшись на необходимость работать ночь напролет, ушел поспать.

В голове вихрились мысли. Все новые впечатления сплелись в тугой узел и сверлили мозг. «Что этот старик? Передо мною с этим Буденным хамелеона разыгрывает, или правду говорит? Кто же я-то здесь? Враг? Друг? Кому?..» Мелькнул «мамушкин гробик», снова — «поц, которому надо нести только за то, что он говорит «паки и паки», глянули узкие и жесткие глазки товарища Савельева. Холодом резнуло от слова «спецзадание»... Так что же это такое за «ликвидация кулачества, как класса?».. И вдруг с необыкновенной четкостью: «Ныне страшное время безверия и отступления от Бога...» Вспомнился «начетчик». Этот не отступит. Как он сказал? А, да: «Грех, он без наказания не бывает». Этот не отступит.

Было часов девять вечера. Потушив лампу, Федор Львович, по привычке, усвоенной с детства и ставшей за последние годы сознательной потребностью, прочел на память молит-

ны и лег спать. Портфель под голову, я все. Не раздевался.

*

Как бы крепко куры ни спали ночью, петух всегда остается верен своей обязанности петь в известные часы. Но, когда птица собрана в большом количестве в откормочных клетках и возбуждена светом фонарей, перекличка петухов не умолкает ни на минуту, ни днем, ни ночью.

Планомерно переходя от секции к секции, Федор Львович перебирал сонных кур. Тех, которые имели правильное сложение, он передавал на отправку. Остальных — на убой. Сонная курица на минуту поднимала гвалт, била крыльями по рукам и по лицу и не сразу умолкала, когда ее сажали в новую клетку.

Было уже к утру. Между пятью и шестью. В вентиляционных трубах свистел ветер, и по низу откормочного помещения тянул морозный воздух. У верхних этажей клеток было жарко от тепла кур. За куриным криком, с лесенки, на которой стоял Федор Львович, он плохо слышал, о чем говорили между собою рабочие, помогавшие при сортировке птицы. Видно было, что они чем-то взволнованы. В разговор с ними вступать он не решался, а они сами, не скрывая, сторонились «товарища из центра». Вот вошел со двора один из рабочих. Федор Львович услышал его замечание:

— Что делается! Что делается!

— Что, метель пошла?.. — спросил Федор Львович.

— Да уж метель... Пурга! — с ударением произнес рабочий, махнув рукой. — Ужас что делается! Вот что... — И тут же равнодушно спросил: — Эту что ли клетку на отгрузку, или эту?

И в это время среди рабочих произошло волнение. Вошел товарищ Савельев, недавно вернувшийся из Чиглы. С ним было двое новых: Гусев и Чеботаренко.

Последние двое проводили «спецзадания» в Давыдовке и вот теперь встретились. Они все трое были необыкновенно возбуждены. Пересмеивались, и в их смехе слышалось много злой иронии. Федор Львович понял, что Савельев показывал своим приятелям свои «владения», и его только удивило, что для обхода был избран не вполне подходящий час.

— А вот это наш товарищ из центра, что прислан отбраковать птицу, — сказал Савельев, когда все трое стояли подле лесенки, на которой работал Федор Львович.

— Закончите, — придете в контору, — властно проговорил Гусев, обращаясь к нему.

— Хорошо. Скоро уже заканчиваю.

Савельев стал объяснять своим спутникам технику работы, показывал какие куры пойдут для комплектования стад в совхозах, какие на убой.

— Ну, на убой, так на убой! — засмеялся Гусев. — Так им, стало быть, и надо.

Все трое рассмеялись. Они пошли дальше.

.....

После работы надо было очиститься от куриного помета, умыться и освежиться. Фе-

дор Львович пошел к месту своего ночлега, с удовольствием думая о большом блестящем рукомойнике, о теплой комнате, и было неприятно, что вместо отдыха надо будет тотчас же идти в контору «актовать».

Лишь только он вышел из помещения, его охватил пронзительный ветер. Он нес мелкую, острую снеговую пыль, которая забиралась во все складки и беспощадно секла кожу лица. Уже намело большие сугробы. Выйдя на площадь, он был поражен необычайной картиной. Во мраке зимнего утра он увидел группы людей, стоявших на открытом месте и жавшихся друг к другу под порывами ветра. Возле них были кое-какие пожитки. Здесь были люди всякого возраста. Были старики, женщины и дети. Что они здесь делали? Вокруг них суетливо бегали какие-то военные с фонарями «летучая мышь». Откуда вдруг взялись эти военные?

«Верно, здесь тоже «спецзадание»? — подумал Федор Львович.

На душе стало страшно холодно.

В толпе кто-то плакал. Кто-то громко о чем-то просил жалобным голосом. «Дочка! Дочка! Где ты?..» — беспомощно взывал какой-то старческий голос.

В испуге, стараясь держаться ближе к избушкам, Федор Львович прошел к избе, где ночевал. К его удивлению, входная дверь была открыта. В комнате, где они вечером пили чай, его глазам представилось страшное зрелище: керосиновая лампа раскачивалась (видно было, ее кто-то недавно зацепил чем-то), бросая

колеблющийся свет вокруг. Шкафчик для посуды был открыт. Стекла его были разбиты. Повсюду был беспорядок, на полу валялись там подушка, здесь — часть одежды, битая посуда. Кадка была опрокинута и помой разлиты по полу. Колыбель была пуста. В комнате никого не было. Федор Львович окликнул. Ни звука в ответ... Невольно он связал в одно страшное целое и людей, стоявших толпой на морозе, и беспомощную тревогу в глазах старика хозяина, и острые черные глазки товарища Савельева, которые отворачивались в сторону при слове «спецзадание».

— Так вот как выглядит ликвидация кулачества, как класса... — протянул он сам себе. — А я думал...

И безо всякой причины вспомнилось, как молодая говорила: «У нас мед очень отличный. Отец пасеку держал».

Но делать было нечего. Об умывании нечего было и думать. Он решил взять свой портфель и идти в контору «актовать». Прошел в «светличку», где спал с вечера. Там было темно. Через дверь проникал свет. Здесь тоже были следы разгрома. Его портфеля на лавке не было. По спине пробежал мороз. Он бросился искать. Портфеля не было нигде. С подавленным чувством он пошел в контору. Уже начинало светать, но керосиновые лампы в избах еще горели. Толпа на площади попрежнему стояла без движения. Пурга выла. Над толпой царило угрюмое молчание. Только время от времени старческий голос жалобно зывал:

«Дочка! Поля! Полюшка! Где ты?..» И опять: «Поля!» Полюшка! Мы здесь...»

— Замолчи, старик! — обрывал его каждый раз стражник. — Замолчи, а то пристрелю!

Ежась от холодного ужаса и кутаясь от ветра в свое пальтишко, Федор Львович через сугробы пробрался к конторе. Вошел в сени. В сенях от него шарахнулась какая-то тень, но, прежде чем он подумал присмотреться к этой тени, его внимание было поражено иным. Дверь из сеней в контору была открыта. Посреди комнаты, под лампой, держа в руках какую-то книгу, стоял один из тех двух, что были с Савельевым. Он громко и с подчеркнутой иронией в голосе читал по книге:

«Если не будет покаяния у русского народа, конец мира близок...» Другие двое громко захохотали. Читавший продолжал: «Бог отнимет у него благочестивого Царя и пошлет бич в лице нечестивых самозванных правителей, которые зальют землю кровью и слезами...» Хлопнув книгой по столу, Гусев возмущенно воскликнул: — И таких людей из центра посылают на работу в деревню! Вот тебе и товарищ из центра. У него Иван Кронштадский, как спутник агитатора!

Федору Львовичу стало все понятно. Стало ясно, почему нужно было немедленно являться «актовать», почему Савельев водил своих приятелей по грязным сараям в неуточный час... Его портфель, его полотенце и книжка Ленина, служившая для камуфляжа, лежали тут же на столе. Книга, которую Гусев в раздражении бросил на стол, была сборник выбо-

рок из записок о. Иоанна Кронштадтского. Федор Львович задрожал от холода и от овладевшего им страха.

— Где он? — властно спросил Гусев у Савельева.

— Я приказал немедленно явиться в контору, — отозвался Савельев. — Сейчас пойду проверить, чего он там так долго. — С этими словами Савельев поднялся с лавки и, увидев Федора Львовича в дверях, вскрикнул: — Вот он!

Тот, сознавая, что идет прямо в пасть удава, но чувствуя в то же время, что иного пути нет, спокойно вошел внутрь конторы. Пытаясь соблюсти хотя бы декорум, что ему ничто не понятно, он хотел обратиться к Савельеву с утренним приветствием, но прежде, чем сделал движение, он услышал резкие, как треск выстрела, слова Гусева:

— Ваша книга?

Пауза. Ветер жалобно простонал в дымоходе. Гусев, Савельев и Чеботаренко пронизывали свою жертву острыми глазами.

— Моя.

— Поэтому я вас изобличаю в контрреволюционной агитации. Вы арестованы. Товарищ Савельев, примите меры.

Савельев сделал шаг к Федору Львовичу и протянул руку, чтобы схватить его, как вдруг из сеней грохнул выстрел. Савельев упал. В секунду последовавшего замешательства было слышно клацанье затвора и, прежде чем можно было что-либо сообразить, треснул второй выстрел. Стрелявший промахнулся. Пуля

расщепила доску стола. Хлопнула дверь из сеней во двор, по ступеням крыльца кто-то бежал. Гусев и Чеботаренко с бранью бросились вдогонку.

Федор Львович подошел к раненому. Савельев был прострелен. Пуля из отреза оставила большую рваную рану. Очевидно, были пробиты легкие. Раненый хрипел. Не теряя самообладания, Федор Львович кинулся к швафику-аптечке. Рванул дверцу. Внутри было пусто. Одинокó стояла жалкая баночка с иодом. Взяв телефон, он стал отчаянным голосом вызывать «больницу, медпункт или хотя бы ветеринара». На центральной его никак не могли понять. Лужа крови около Савельева продолжала расплываться. Центральная не желала принимать вызова, так как они не знали — кто требует.

Не успел Федор Львович сказать несколько слов в телефон, как со двора послышались крики, брань, женский визг, скрип мерзлого снега, топот ног в сенях. Гусев и Чеботаренко вволокли в контору молодую женщину. В ее руках был отрез от винтовки. Стремясь вырваться из рук державших ее мужчин, она била ногами. Позади появились стражники. Женщина плевалась и иступленно кричала: «Будьте вы прокляты! Прокляты от Бога и от меня! От всего живого! Будьте прокляты!»... Это была Полюшка.

Тут, наконец, отозвалась больница. Но лишь только Федор Львович стал говорить с врачом, он услышал окрик Гусева:

— Это заговор! Прекратить телефонную связь!

Затем Федор Львович помнит, как его кто-то схватил за плечо, и как он грохнулся об пол. Комната наполнилась какими-то людьми. Все кричало и бранилось. Кто-то кого-то бил.

Когда Федор Львович пришел в себя, в конторе было тихо. Он сидел на лавке, а по сторонам его — два стражника. На другой лавке лежал Савельев. Он еще дышал, но лицо его уже покрылось мертвенной бледностью. Со двора доносился какой-то гомон.

.....

— И это понять?.. И это простить? — пробормотал Федор Львович, глядя прямо в глаза Василию. И помолчал...

— Это забыть?.. Ни-ког-да!

У. У Т Р О

(Часть 2-ая)

Из Васиного горла вырвалось нечто вроде восклицания. Словно он что-то хотел сказать...

— Только я теперь не кролик, чтобы идти в пасть удаву, — говорил Федор Львович, положив руку на плечо Васе. — Помните и вы мой урок навсегда. Навсегда. Вася, голубчик, слушайте: пусть никто не знает, что со мною. Если будут спрашивать, скажите, дескать, вызвали его вроде как бы в милицию, он и пошел. А если письма мне будут, получайте и

храните. Может быть, когда-нибудь навернутся за ними. Прощайте, голубчик.

Федор Львович повернулся к выходу. Вася заметил, что вместо маленького свертка, который (Вася это знал) люди берут с собою в тюрьму (мыло, щетка, маленькая подушка, полотенце), в руках соседа был в одной руке более крупный баульчик, а в другой — ящичек с часовыми и ювелирными инструментами. Федор Львович заметил вопросительный Васин взгляд.

— Это не подведет. В любом селе кусок хлеба... И в концлагере пригодится. Начальству часы починять. Г-м... «начальству», — повторил он со злобной иронией.

Тут Вася не выдержал. Перед его глазами ярко предстала вчерашняя картина. Да если бы только вчерашняя. Вот уже полгода город жил, подавленный террором. Дом, на котором велась надстройка, толпа женщин... Мелькнула фраза о предприятии, которое обречено на умирание, если оно не расширяется.

— Федор Львович! Да что же это происходит? В чем же дело?

— Ужас. Вот что. Ужас. Поймете или нет, дело иное, а что я скажу, запомните. Меня русский наш крестьянин, который совесть не потерял, научил. Если поймете, то хорошо. Слушайте: «Суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле... Сеяли ветер, пожинаем бурю. Ничего! Эти тоже пожнут бурю».* В страшное время живем. Не было более страш-

*Сравн. Прор. Осия гл. 6, ст. 1 и гл. 8, ст 7

ного времени на Русской земле. Власть в руках самозванных правителей, которые заливают землю кровью и слезами. Но почему так много смерти кругом?.. Если бы объяснить. Волосы дыбом...

Федор Львович дрожал. Глаза его бегали, как бывает с человеком при крайнем нервном напряжении.

— Наше дело сегодня не в том, чтобы понять, а в том, чтобы устоять. Выжить, но выжить с честью, не став на колени, не превратившись в пресмыкающееся, не потерять воли к правде. К Правде!... Вы... вот что... Кто знает?... Может за мною и других... если вашего папу за соседство со мною...

Вася широко открыл глаза от ужаса.

— Какие-нибудь показания если станут предъявлять, не смущайтесь, а отказывайтесь. На меня валите, что хотите. Что хотите! Я одинокий. Я знаю. Там человек перестает быть человеком. Там героизм ни к чему. Разумеется, вы меня сегодня не видели. Понимаете?

Вася понимающе кивнул головой.

— Ну, пусть вас Бог хранит.

Федор Львович еще раз взглянул в глаза Васе. Взглянул прямо и страшно.

— И пусть они будут прокляты. Прокляты от Бога и от меня. Аминь.

Они постояли молча глядя в глаза один другому.

— Однако, мне времени терять нельзя. Вызывают на десять. Если долго замешкаюсь, кинутся искать. Прощайте. Да хранит вас всех Господь Бог. А защищаться я буду. Я умею в

поезде зайцем ездить. Научили... Буду защищаться. Нет сил, есть голова.

Федор Львович быстро вышел.

Вася был ошеломлен. Он продолжал стоять с поленом в руке один посреди комнаты. Шаги Федора Львовича прозвучали по мосткам во дворе, хлопнула калитка. Сосед навсегда ушел из Васиной жизни. Через полчаса со станции послышался свисток паровоза и донесся грохот колес. «Московский» — мелькнуло в васином сознании. Он поднял голову и с воодушевлением воскликнул:

— Боже! Неужели у него хватило смелости на побег? Действительно, не кролик. В пасть к удаву не пошел... А я?... Я ничего не знаю.

Вася понимал, что за Федором Львовичем могут, должны придти, коль скоро он не явился к назначенному времени. Возникнет история, от которой можно было спастись, только отсутствуя из дому. Вася принял меры предосторожности. Он решил поскорее «смыться».

«Папа - мама, — писал он на газете, — Сегодня у меня ужасно торопкий день. Надо сразу быть во всех местах. Обеда разогреть не смогу, т. к. меня весь день не будет дома. Простите. Буду поздно. Бобка».

Потом подумал. Сообразил время. Его разговор с соседом начался не раньше половины десятого. Вася посмотрел в потолок, обдумал время и приписал:

«Очень спешу. Сейчас девять часов утра. Дров наколоть все-таки успел».

Поспешно оделся, взял портфель и ушел на занятия в техникум, не позаботившись даже

чаю попить. Волнение сказывалось. Оно долго не могло улесться в его юношеской душе. Много из слышанного пролетело мимо его понимания, но слова о том, что «У Бога суд с людьми сей земли», почему-то закрепились.

В отсутствие Вася пришел милиционер, спрашивал Федора Львовича. Потом он же приходил с управдомом, составили акт. Позднее комната была передана новым жильцам. На счет Федора Львовича были сделаны запросы по месту работы, в отдел происшествий милиции. Отовсюду поступили сведения, что о его судьбе ничего неизвестно. Начальник НКВД выругался нехорошими словами, и папку с несколькими донесениями положил на полку.

Когда почтальон приносил письма на имя Федора Львовича, все единодушно показывали, что такой не проживает.

Жизнь пошла своим чередом. В семье Митяных ничто не изменилось. Вася приходил поздно, отец уходил рано, и поговорить между собою они так и не могли. Всю неделю каждый из них носил в душе тревогу.

Последний отзимок прошел быстро. Снег стоял я, как говорят поэты, весна вступила в свои права.

У I

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Но пришло и воскресенье. В этот день па-мама могли поспать подольше, а Вася ни-

когда не торопился. Жизнь в семье началась часов в десять. Когда пили чай, Андрей Васильевич мягко, но крепко положил свою руку на Васину.

— Не торопишься, мальчик?

Вася, который в этот момент забыл, было, об ожидавшем его разговоре с отцом, встрепенулся, и сердце его забилось. Он отрицательно покачал головой.

— Так вот, — продолжал Андрей Васильевич, — мне давно уже нужно с тобою говорить, и дело это чрезвычайно важное.

Анна Митрофановна, которая шла от стола к примусу, обернулась и застыла, вопросительно глядя на мужа.

— Я, вот, на неделе видел Жовтынского... Ты, ведь, его знаешь?

Вася утвердительно кивнул головой.

— ...и вот он мне про тебя сказал две вещи.

— Что же? Какое дело до меня Жовтынскому? Что у него вдруг за дружба с тобой. Не понимаю.

— Конечно, расположился он ко мне или что другое, этого я понять не смог, но то, что он сказал, надо принять во внимание, .. к сведению, а может быть, и к исполнению, как говорится.

— А, все таки, — что же?

Андрей Васильевич понизил голос и оглянулся на окно. Окно было закрыто.

— Ты, Бобка, по мальчишеству многого не понимаешь еще. Язык у тебя молодой, и если не вздорный, так слишком задорный.

— Так, что же? Что такое?

— А Жовтынский парень не плохой. Он меня и предупредил, чтобы ты себя поостерег. Вот заметили, что ты часто перешучиваешь сталинские слова. Все проблемы решаешь... Мне-то понятны и причина, почему ты так говоришь, и твое настроение. А только ты с этой публикой будь осторожен. Заметили. Чорт знает кто, когда и почему, но только заметили. Как полагаются, донесли, и вопрос о тебе стоял на закрытом бюро комсомольской ячейки.

Вася побледнел.

— И причиной этому была именно та легкость, с которой ты обращаешься со всеми этими цитатами.

Вася молчал, уставившись в чашку с чаем.

— Немудрено, — пробормотал он, наконец, — чем нам головы понабивали, то из нас и прет.

— Да я тебя не обвиняю. Понимаю, детка. И издевку твою понимаю, хотя ты, может, и сам себе отчета не отдаешь, а думаешь, что твои слова всего-навсего шутка. Они в твоих словах видят издевку, потому что кошка всегда знает, чье сало она съела. Но ты-то язык покрепче за зубами приучайся держать. Не в такое время живем, чтобы зря словами бросаться. Даже и остроумными. Голова-то, ведь, она одна на всю жизнь. Надо уметь ею думать, чтобы ее сберечь.

Андрей Васильевич помолчал... Анна Митрофановна села к столу, поставив остывающий чайник на кухонный столик.

— И еще вот что, мальчик... Это все дело не поднялось бы, и разговоров бы не было,

если бы не было замечено... м-м-м... если бы люди не обратили внимания, что... ну, как бы это сказать?... Что ты ухаживаешь, или, скажем, что ты особенно расположен, что ли, или как там это нынче принято говорить, расположен к Верочке Спиридоновой.

Отцу неловко было. Он не умел подобрать слов. Вася, услышав эти слова, немедленно сварил рака. Покраснел до самых кончиков ушей. «Так и знал!» — мелькнуло у него в голове. Мать взглянула на сына совершенно особенной, новой для нее самой улыбкой, улыбкой сознания, что сын теперь взрослый.

— Надо тебе сказать, — продолжал отец, — что Верочку я знаю. Помню ее еще по школе. Была у меня в классе. Знаю и ее матушку. Старого, доброго времени учительница. М-м-да... И против них ничего не имею. Люди хорошие, и сама Верочка... как бы это сказать... ну, словом, вкус у тебя неплохой.

Вася еще гуще покраснел, хотя и так уже дальше было некуда. Сидел, как на иголках и не знал, что сказать.

— А вот сейчас я должен тебя предупредить, что, как говорится...

Андрей Васильевич шелкнул в воздухе пальцами.

— Как бы чего не вышло, как говорил покойный чеховский Беликов.

— Да что же такое? — обеспокоенно воскликнула Анна Митрофановна.

— То такое, что Ваське надо техникум во что бы то ни стало кончить.

— Так причем же здесь Верочка?

Отец понизил голос едва не до шопота.

— Жовтынский меня предупредил, что мать этой Верочки — в очень, очень тяжелом положении.

— Так надо помочь! — горячо воскликнула Анна Митрофановна.

— Г-м... Помочь... Помочь? — иронически отозвался Митин. — Помочь хорошо, когда ты в силах.

— А тут? Мы хоть и небогатые, и не все-сильные, ну а уж человеку в беде...

— Тень на ней. Тень, понимаешь?

— Что такое? Разве Верочка?..

— Политическая тень.

— Слава Богу! — воскликнула Анна Митрофановна. — Я испугалась, что что-нибудь...

— Тень, стало быть и на дочери. А политическая тень в наше время, это, брат ты мой... сам понимаешь. На вора лучше смотрят... Тень падает также и на всякого, кто с ними станет дружбу водить. Ну, вот и получается, что на нашего Бобку тоже эта самая социально-политическая тень ложится, и, в результате, он может полететь из техникума. А там что остается? Куда он тогда в жизни денется?

— Да постой, постой, — взволнованно перебила Анна Митрофановна. — Что за тень? Что случилось?

— Пока что еще ничего. Жовтынский говорит, что может еще и обойдется. А все-таки... на нее есть дело в райкоме.

Вася протяжно и как-то особенно грустно свистнул, пропустив воздух между зубов. Его мальчишеский испуг прошел и заменился другим. Дело в райкоме партии могло обозначать слишком многое. Это уже не школьные

шалости, за которые он боялся получить нагоняй, и не смущение от разговора о девушках. Дело в райкоме могло обозначать катастрофу в жизни.

— А она знает?

— Не успел спросить.

Помолчали. У каждого вид был несколько растерянный.

— Вот, мальчик, как. Блюдите, како опасно ходите. Не якоже немудрии, но якоже премудрии, искупующе время, яко дни лукави суть.

— И не только дни, но и люди, — слегка подчеркивая славянские слова, добавила Анна Митрофановна.

Вася сидел потупившись.

.....

Время между тем шло. Воскресный день, хотя и был свободен от служебных обязанностей, то-есть от хождения в определенные места работы, был, тем не менее, полон своих забот. В этот день можно было сделать столь необходимую уборку комнаты. Она всегда откладывалась на воскресенье. Можно и нужно было «зачистить» кое-что, что оставалось несделанным в течение недели, надо было позаботиться и о том, чтобы кончить все дела пораньше и пораньше лечь спать.

Анна Митрофановна принялась за уборку, штопку и стирку, Андрей Васильевич сел «зачищать хвост», т. е. проверять ученические тетради, с которыми систематически не справлялся на неделе. Вася пошел в библиотеку менять книги. Его очень тянуло «проскочить» к Верочке, но он удержался, отложив до вечера.

В число васиных обязанностей по дому входило снабжение семьи хлебом. Он доставал его либо рано утром до колки дров, либо идя в техникум. В воскресные дни он совмещал эту заботу с походом в библиотеку. Ему было по дороге. В этих случаях доставание хлеба, обычно, отнимало час-два, т. к. надо было выстоять очередь. Последнее время Васе, правда, повезло. В стрелковой секции Осоавиахима он сошелся с одним парнем, который оказался продавцом «Гастронома». Семка Рабинович и вправду был хорошим парнем и добрым товарищем, и охотно оказывал своим друзьям одолжения. Так у Васи создался хлебный блат. А когда Рабинович стал помощником завмага, то тут уже дело пошло и совсем просто. Семка откладывал для Васи буханку хлеба себе в стол и давал ее ему через черный ход. Удавалось это не всегда. Если Семки на дежурстве не было, тогда — «труба». Тогда Вася мчался к отцу, тот «пресмыкался» перед школьной буфетницей. Хлеб бывал обеспечен. Если же все это не действовало, то приходилось выстаивать в очереди... или сидеть без хлеба.

В это воскресенье Семки Рабиновича в «Гастрономе» не оказалось, школа была закрыта. Семье предстояло остаться на весь день и на завтрашнее утро без хлеба. Васе пришлось стоять в очереди. В «Гастроном» он пошел после библиотеки. Можно было читать новую книгу, и время в стоянии проходило не так заметно. Очередь стояла спокойно, мерно подвигаясь к дверям магазина, и ничто не мешало Васе читать. Только время от времени вскидывая глазами, он убеждался, что сохраняет свое ме-

сто, и следил, чтобы в непосредственной близости от него в очередь не вклинился какой-нибудь нахал.

Но сегодня и в то время, как он стоял в очереди, как глаза его бегали по строчкам книги, мысль его была прикована к маленькому домику, во дворе которого бегала собака «Полкан», и где на днях он не сумел славировать между «Сциллой и Харибдой».

На Варвару Петровну было дело в райкоме! Васины мысли бежали. Возбужденный более тревогой отца, ему передавшейся, нежели собственным пониманием происходящего, он, тем не менее, чувствовал, что от райкома партии до подвалов НКВД расстояние было очень близким. Впечатление от недавнего разговора с Федором Львовичем, его страстные слова, живо стояли в Васиных представлениях. Думая о Верочке, он вдруг, как бы увидел перед собою то, что видел давеча ночью. Толпа женщин около дома, на котором производится надстройка. Вася представил себе, что в этой толпе женщин стояла и Вера, чтобы узнать что-либо о своей матери. Потом он стал думать, что это уже неминуемо так и будет, что Вера останется беспомощной и одинокой и еще больше будет в нем нуждаться, что его родители пожалеют девушку и возьмут ее к себе, и она будет жить с ними, как его сестра в их семье. Он стал обдумывать место, где поставить кровать для Веры в их комнате. Не найдя такого места, так как все было заставлено, он сообразил, что уступит Вере свой уголок, а сам будет спать на полу.. и Бог весть, куда его понесли молодые, неопытные мысли.

Час, или полтора простоял он в очереди?... За тревогой он не заметил времени. Но вот он уже приблизился к двери магазина. Толкать начали сильнее. Это отвлекло Васю от размышлений. Поближе к двери очередь сдвигалась, страивалась и, наконец, подле самой двери, превращалась в густую толпу.

Книжку пришлось сложить, а ухо держать остро, чтобы не быть отгерттым. В работу пошли локти и плечи и, после небольшого напряжения, крикнув и весело улыбаясь в лицо какому-то старичку, который был прижат к Васе толпою, он сделал ловкое движение и, трижды перевернувшись, влетел в магазин. Здесь было свободно и просторно. К каждому отдельному продавцу стояла небольшая очередь, и, так как продавцов было пятеро, дело шло быстро. Через пять минут Вася уже вышел из «Гастронома» с двумя кило хлеба, которые он имел право купить без карточек в свои «одни руки».

Стоит с уважением и с удовольствием почитать вождеградских работников торговой сети. В смысле борьбы с очередями они достигли действительно блестящих результатов. Конечно, возле лавки иногда случались скандалы. Временами бывал и мордобой. Но это не часто. А внутри магазина всегда было чисто и аккуратно. Как только прибывал товар, которого ждали покупатели в очереди у магазина, он немедленно укладывался на место, и торговый процесс шел организованно и быстро. Ну, да ведь в смысле борьбы с очередями приобретен был грандиозный опыт. В самом деле, с самого тысяча девятьсот семнадцатого, за малым перерывом, товаров не хватало, и очереди вошли в

быт. Маленькие девочки, играя в семейный быт, разложив вокруг себя свои куклы и, подражая взрослым, обмениваются впечатлениями дня: «Сегодня у нас в очереди бабы подрались»... В столицах, правда, это не так сказывалось, как в провинции, но детский-то разговор подслушан именно в Москве...

*

Пока Вася ходил в библиотеку и за хлебом, его родители дома продолжали заниматься своими делами. Мать — приборкой, а отец — тетрадями. Это были те немногие часы, когда они могли переброситься мыслями, сказать друг другу несколько слов. Отрываясь от тетрадей, он бросал ей реплику, она отвечала в то время, как руки ее продолжали делать грязную работу.

Прежде всего, Анна Митрофановна пожелала знать подробности о семье Спиридоновых. Ее интересовала и Верочка, и ее мать, а также и то дело, которое было заведено в райкоме. Оказалось, что Верочку Андрей Васильевич знает, так как он преподавал математику в средней школе, где Вера раньше того училась, а потом в педагогическом техникуме, когда ему случайно пришлось короткое время заменять одного из учителей по случаю болезни. Отозвался он о Верочке чудесно. Да и стоило. С мнением Андрея Васильевича согласились бы все, кто ее знал и теперь и раньше. Она была бесконечно мила и привлекательна еще подростком с косичками, торчавшими по обе стороны детской рожицы. Что же говорить теперь, в те дни, когда она уже расцвела, вступив, как сказал бы поэт, в свою живительную и всеукрашающую двадцатую весну. Немножко коробило то, что она

была комсомолкой. Но в это время — кто из молодежи не был? Носили в кармане одной бумагой больше. Вася же тоже был членом комсомола. Андрей Васильевич всегда морщился, когда это обстоятельство приходило почему-то в разговор... Словом, вопрос о Веринном комсомольстве они обошли, не сосредотачивая на нем внимания. Андрей Васильевич заметил только: «Это ее не портит».

Из-за отзыва Андрея Васильевича, Анна Митрофановна всем сердцем расположилась к Верочке и стала думать о ней, как о будущей своей невестке. Говорят, такова уж натура всякой матери взрослого сына. Коснулись и Веринной матери. Митин знал ее, оказывается, по ее участию в учительских конференциях.

Родители решили установить знакомство, как только выяснится вопрос о деле в райкоме партии, то есть, когда станет понятно, что знакомство это не связано с опасностью. Андрей Васильевич был рад своей случайной встрече с Жовтынским и надеялся, что отношения углубятся, и он сможет в дальнейшем быть в курсе этого дела, а, может быть, можно будет и помочь Веринной матери, хотя бы во-время предупредить ее о настроениях среди членов райкома относительно нее.

Поговорили также и о том, что так беспокоило Анну Митрофановну. Надо было достать денег, чтобы дать Попову к его отъезду. В самом деле, его поездка открывала шанс необыкновенный и не воспользоваться им было нельзя. По счастью, у Андрея Васильевича была возможность достать «несколько денег», как он говорил. Много-немного, а на 100-150 рублей

он мог рассчитывать, так как он давал уроки сыну доктора, который имел частную практику. У него-то и можно было перехватить на время.

Но вот, проверены тетради. Вот и пол очищен от комков натасканной за неделю грязи... Но отдыху предаться старикам не пришлось. Дело в том, что за несколько последних дней весна окончательно ворвалась в жизнь.

Давешний снег был последним отжимком. Сомнения не оставалось: зима больше не вернется. Стало тепло. Деревья, еще недавно жалобно протягивавшие к небу голые, черные ветви, вдруг приобрели зеленоватый оттенок, словно их кто-то сбрызнул зеленой краской. Чуть зеленые, они еще несмело разворачивали свои побеги. Чудо жизни, так много раз описанное поэтами, еще раз совершалось в мире, разглаживая морщинки на хмурых, утомленных лицах пожилых обывателей. Солнце грело, в синем небе висели легкие облачка. Красота Божьего мира осенила землю и не прошла мимо Вождеграда, несмотря даже на столь неблагозвучное его название. Не пустить эту красоту к себе в жилье было бы преступлением... И Андрею Васильевичу пришлось потрудиться в поте лица своего. Надо было «размазать» окна и выставить вторые рамы, чтобы наполнить комнату свежим весенним воздухом.

Анна Митрофановна, между тем, занялась чисткой посуды. Она взяла закоптившиеся на примусе кастрюльки и, выйдя на двор, стала очищать их. Для этого она мокала тряпочку в воду в лужице возле крыльца, потом этой тряпочкой брала песок с земли и оттирала копоть. Это приходилось делать каждую неделю. Анна

Митрофановна уже приспособилась, и дело у нее шло быстро. Ей казалось, что во всем мире все хозяйки чистят посуду именно так. Кастрюльки начали очищаться и вскоре заблестели в лучах солнца. Особенно ярко светились оловянные заплатки, во многих местах наложенные на старенькую посуду.

Однако, Анна Митрофановна перестаралась. В самой главной кастрюле от чистки песком образовалась новая течь. Этот раз уже непоправимая. Слесарь, делавший эту работу в часы, свободные от заводской работы, уже и прошлый раз отказывался чинить, говоря, что кастрюля слишком стара. А нужна была кастрюлька ежедневно, ибо она составляла элемент «единой стройной системы», которую читатель, верно, помнит, и без которой семья обречена была бы оставаться без обеда. Пришлось найти чистенькую тряпочку, продернуть ее в образовавшуюся дырочку и, снаружи и изнутри замазать хлебным мякишем. Опыт уже показал, что держать будет, если обращаться осторожно. Эту работу Анна Митрофановна доделывала уже в комнате, стоя за кухонным столиком в углу. Закончив ее, она обернулась.

Андрей Васильевич стоял возле открытого окна, спиной к нему. Руки его были выпачканы пылью от высохшей за зиму замазки. В одной руке он держал столовый нож, которым отскабливал замазку, другою опирался на угол только что выставленной второй рамы. Глаза его были устремлены куда-то, словно они не видели того, что было перед ними, словно они созерцали какую-то невидимую, дивную картину. По его щекам текли слезы.

— Что с тобою? Андрюша? Голубчик!...

— Так. Ничего... — смахивая слезу с ресниц, проговорил Андрей Васильевич.

Они молча смотрели друг другу в глаза. Она — пытаясь проникнуть во внутренний мир мужа, он — с недоумением о том: сказать, или промолчать. И вдруг, не выдержав:

— Я, знаешь, Анечка, вот раму выставял, и сам себе стал вспоминать, как всякий также вспоминает:

«Весна. Выставляется первая рама,

«И в комнату шум ворвался:

«И благовест ближнего храма

«И говор народа, и стук колеса.

«Мне в душу повеяло жизнью и волей.

«Вон даль голубая видна...

«И хочется в поле, в широкое поле,

«Где, шествуя, сыплет цветами весна...

Голос у него был глуховатый от возраста. Он не декламировал, а как бы выдавливал из своей души каждое слово, и в таком чтении стиха было что-то страшное, от чего мороз шел по коже.

— И такое чувство нахлынуло, знаешь... Молодость что ли ушла? Или вот, что живем в этой нищете собачьей. В постоянном страхе.. Такое что-то... Смотришь на жизнь, слезно над гробом дорогого покойника стоишь, и спрашиваешь сам себя: «Зачем это было?». Зачем? — раздраженно почти вскрикнул он. — А годы были. Школа. Гимназия... Помню мой первый урок. Всю жизнь, как один день помню. Детки читали. Стоит передо мною вихрястенький, в

мундирчике, курносый и этот вот стих читает, а через окно вот это самое. Это самое. Рядом жизни в окно вливалась. И благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса... У нас под окнами липки росли. Прямо в классную комнату заглядывали. Как чудно хорошо было! Каждый день весна цветами сыпала. Страстная была Неделя. Красиво. Чудо, как хорошо было... И сколько лет прошло, и сколько теперь горя стало кругом. Сколько его через Россию перекатилось, сколько его впереди... Ну, что я нынче деткам скажу? Что? Чем я обрадую их, маленьких, что весна пришла? Да им-то что за радость? Нет у этой весны цветов, чтобы для людей рассыпать. Нету. Скорбь, убожество. Томление. Ужас... Д-да-да-а. — протянул он шопотом, втягивая воздух. И был в этом восклицании ужас человека, потерявшего что-то дорогое сердцу, что-то неоценимое, неповторимое, невозвратное.

Анна Митрофановна подошла к мужу, улыбнулась ему в глаза и нежно его поцеловала.

-- Стар, может быть, становлюсь? — говорил он дальше. — Сентиментален не в меру? Бог весть.. А только, как сравнить, что было и что стало, как одумаешься минуточку — ужас берет. Не жизнь, а каторга. Для всех, для всех, для всех. К чему было ломать? К чему?

В это время под окнами раздались шаги по мосткам во дворе, и послышался звонкий Васин голос. Вася громко напевал:

«Сердце, тебе не хочется покоя.

«Сердце, как хорошо на свете жить!

«Сердце..

Он не дошел. Через мгновение он, веселый и оживленный, влетел в комнату и бросил на стол только что купленную пол-буханку хлеба.

— Вот, хлебная проблема у нас, товарищи, и разрешена. У нас не было хлеба, теперь он у нас есть.

— Вася! Опять?

Вася осекся.

— Прости, папа. Я забыл. Не буду больше. Само выскочило.

— Эх, мальчик. Как бы боком только не выскочило, — произнес с грустью отец.

Васин приход нарушил короткую задумчивую сцену. Андрей Васильевич пришел в себя и стал возиться около рамы, убирая пыль и сор. Потом отнес раму в чуланчик.

— Второе окно я, Анечка, в то воскресенье разделаю, — просительным тоном произнес он. — Очень уж утомился.

— Как хочешь. Только гляди, чтоб и на все лето не осталось.

У них в комнате было два окна.

Анна Митрофановна принялась готовить обед. Дело было несложным. Надо было только разогреть суп, принесенный вчера из столовки, да очистить несколько картофеля, чтобы подбавить к супу «для густоты».

Вася сел за книжки. Андрей Васильевич унес раму в чулан, потом сходил за водой. Вернувшись, он присел к столу и стал промагивать газету. Едва он добрался до последней, четвертой страницы и безразличным движением отложил газету, как уже было время собираться к столу.

*

Обед уже кончался, когда хлопнула занавеска, и под окном у них послышался решительный мужской голос:

— Скажите, пожалуйста, не здесь ли живет товарищ Митин?

Это был Жовтынский.

— Погодка-то какова! На редкость! — сказал он, входя через мгновение в комнату по приглашению хозяев.

Андрей Васильевич, принимая гостя, чувствовал себя несколько смущенно. Уж очень убогой была обстановка в комнате. Жовтынский принес обещанное масло. Масло было принято и, хотя Жовтынский купил его в закрытом распределителе райкома партии по твердой цене, т. е. за гроши, о которых не стоило бы говорить, Андрей Васильевич настоял, чтобы тот принял деньги, им на масло истраченные.

Жовтынский пришел так просто, так спокойно, без всякой позы и наигранности как может придти простой русский человек в дом, где, — он чувствует, — будет принят. Он принес с собой атмосферу простоты и дружественности почти заигрывающей, и по всему, как он себя вел, было видно, что он хочет быть принят в доме, как свой. И Митины его приняли.

Вася в первые минуты был чуть смущен в присутствии своего учителя, но это быстро прошло. Анна Митрофановна чрезвычайно обрадовалась маслу. Она пожурив гостя, что тот опоздал к обеду; в душе же она была этому очень рада, ибо обеда не хватило бы, да и был он уж очень скромным. В ответ Жовтынский упомянул о незваном госте, который хуже та-

тария. Но чай после обеда пить семи вчетвером

*

Жовтынский принадлежал к той группе членов партии, вся жизнь которых и работа состояла в изучении и распространении партийных знаний. Вопросы хозяйственные или военные его мало интересовали. Он был историком партии и теоретиком марксизма. В районном вождьградском масштабе он от себя ничего дать не мог в смысле углубления партийно-теоретических знаний, однако, углубляясь сам в эту науку, или, как он ее называл, «философию», он испытывал большое удовлетворение. Так было по началу.

История этого человека была довольно обычной. В войну 1914 года он был призван в армию и был на фронте. Сам он жил на Дону в среде казаков, но казаком не был. Прислушивался к революционным пропагандистам, но их речи его мало волновали, если не считать того, когда заговаривали о земле. Революцию принял без особого энтузиазма и очень оскорблялся зафронтным дебоширством и погромом который учинился в феврале. Как грамотный человек, исполнял какую-то канцелярскую работу в солдатском совете, но, как только узнал о том, что дома делят землю, бросил все и ушел домой. Потом началась Гражданская война. Казаки стали на сторону белых. Жовтынский, как и другие иногородние, стал на сторону красных просто потому, что так положил обычай розни между казаками и иногородними. Принципы борьбы были ему абсолютно непонятны. ЧТО БЫЛО ГДЕ? он не понимал. Будучи

человеком толковым, он пошел в гору. Стать пропагандистом и чем-то вроде политического работника. Даже не будучи карьеристом, соблазнил, что надо вступить в партию, так как иначе дорога будет закрыта. После демобилизации пошел по дороге партучебы. В боях Гражданской войны он отличился своей храбростью и готовностью выручать товарищей.

С учебой началась работа мысли. И здесь у Жовтынского проявилась особенность, делающая людей, ему подобных, особенно привлекательными. Уже по окончании университета, он не гордился своим званием: и считал, что диплом есть только начало подлинного учения. Всегда он искал чего-то свежего, способного расширить его кругозор. Помочь ему «копнуть на один штык глубже» как он говорил. Своё дело, которому многие должны бы позавидовать.

Однажды, роясь в дореволюционных архивах Вождеграда, он натолкнулся на прописной листок, в котором значилось, что кто-то из творцов революции, чуть ли не Свердлов, прожил здесь две недели. Косвенные документы показывали, что он — великий революционер какое-то время даже держал часовую лавочку. Документы эти воодушевили Жовтынского, так как сопоставление годов и даже месяцев давало повод как-то судить о настроениях революционеров в то или иное время. Жовтынский написал большую статью «по первоисточникам». Ему казалось, что его труд проливает свет на один из штрихов истории борьбы за революцию и за власть. Правда, расстояние от часовой лавочки до революции было довольно значительно, но в творческом порыве

автор этого не заметил. Из статьи, просто сказать, ничего не получилось. В Москве захотели сделать поощрение местному исследователю, напечатали нечто вроде отзыва в какой-то партийной книжке. Жовтынский на мгновение испытал творческий восторг и авторское удовлетворение, но позднее, как-то чутьем он стал понимать, что история партии не восстанавливается по первоисточникам, но кем-то как-то диктуется то ли независимо от источников, то ли даже вопреки им.

Восторг проходил. Новых документов не попадалось, жизнь брала свое, ежедневные противоречия все более и более наглядно выпирали наружу, и Ефим Матвеевич начинал задумываться. Вся его деятельность свелась, в общем, к повторению того, что писалось в газетах и журналах, да листках и памятках пропагандиста, которые присылались «сверху». Собственного, своего, он не смел привнести ничего, начиналось томление духа. Жовтынский понимал, что что-то очень, очень не так. Дальше его деятельность продолжалась уже без энтузиазма, без азарта, без творческого восторга.

Про себя он стал называть свою личность «партийный поп», или же «парт-труба». Дескать, партия дует, а я играю. И каждый раз, когда брился, и свежо выбритая его щека, еще мокрая после бритья, отблескивала в зеркальце, в представлении Ефима Матвеевича Жовтынского мелькал геликон духового оркестра до-ясна надраенный мелом.

Уже сознавая себя парт-трубою, Жовтынский изменить свою судьбу не мог. Годы парт-

учебы, педагогический стаж и стаж пропагандиста, привычка да и возраст, наконец, уже не позволяли быть разборчивым и менять специальность. Переучиваться было поздно, а по «этическим» причинам даже и невозможно. Он вполне основательно опасался вопроса: «А вы что, товарищ, разочаровались?..» Так он и продолжал работать, преподавая историю партии в различных учебных заведениях, да читая лекции о международном положении во всякого рода рабочих клубах. За это платили хорошо и это давало права. Жовтынским дорожили и с его мнением в райкоме считались. Его часто привлекали к решению партийных дел Вожегодского района. За это уже не платили.

Но пытливость его не покинула. Он продолжал искать всякой возможности «копнуть на один штык глубже». Давно услышав речь Митина на учительской конференции, он живо заинтересовался существом воспитательного процесса, и это привлекло его к Андрею Васильевичу.

Жовтынский мог себе позволить свободу обращаться с беспартийными, не подходя к ним, как «авгур», свысока. Его партийные заслуги и стаж, участие в Гражданской войне, все это ставило его на особенное место. Партийные шавки боялись его тронуть, а он поэтому и позволял себе и думать, и водить компанию с беспартийными, а подчас даже и говорить то, что думает. В последнем он, впрочем, был очень дипломатичен и разборчив.

.....

Чай был выпит. Желая занять мало знакомого гостя, Андрей Васильевич пригласил его сыграть в шахматы. Вася сидел в своем углу. Читая учебник бактериологии, он одно ухо держал востро, ожидая, что возникнет разговор о деле Спиридоновой. Сам Андрей Васильевич был достаточно дипломатичен, чтобы не начинать. Он ждал, чтобы Жовтынский сам заговорил. Так и случилось. Однако, выяснить ничего не удалось. Перспективы еще не наметились. Райком пока что отложил рассмотрение, так как собирались дополнительные материалы. Жовтынский намекнул, что картина получается не совсем красивая, и что было бы не худо, если бы кто из друзей мог позаботиться, чтобы Варваре Петровне устроили место в какой-нибудь конторе, так как видимо, из школы ее все-таки попрут. Так и сказал: «Попрут».

Старшие играли в шахматы и беседовали.

К вечеру Вася ушел. Разумеется к Верочке.

Он, как мог мягче, дал понять Варваре Петровне, что ее положение в школе неважно, и что собирается какая-то неприятность. Об источнике информации он не сказал, но дал понять, что говорит не спроста. Не обратив внимания сначала, Варвара Петровна постепенно, тем не менее, стала вспоминать последние дни. Она связала их особенность с тем, что говорил Вася и сообразила, что что-то было неблагополучно. Она вспомнила, как ее на днях вызывал директор школы и, как-то подчеркнуто закрыв двери, говорил с нею неожиданно сухим тоном. Он не обращался к ней,

как бывало — «Варвара Петровна», но называл ее «товарищ Спиридонова».

Действительно, такой именно обычай установился в советских заведениях. При дружеских отношениях называют друг друга по имени-отчеству, но лишь только дело переходит в сферу, где товарищеским отношениям места нет, так тотчас товарищем именуют.

Васины намеки вызвали большую тревогу в душе Варвары Петровны. Ну, а молодым-то людям все казалось проще, чем оно было на самом деле. Точнее говоря, они были слишком полны сами собою, чтобы долго задерживаться на предметах, лежавших вне радости сегодняшнего дня, которым они жили. Вскоре Вася с Верой пошли бродить по зеленеющим улицам и дышать пьянящим воздухом наступившей весны.

Жовтынский у Митиных засиделся. Уже с этой беседы между ними установилось понимание. Андрею Васильевичу пришлось вкратце повторить то, что было основной мыслью его давешнего доклада, и он заметил, что высказал далеко не все, что думал сказать. Но развивать свои соображения он пока не стал. Далее их разговор пошел в область истории, психологии и коснулся философии. Разница между подготовкой, полученной Митиным в Императорском Университете и — партийно-академической, полученной Жовтынским, сказывалась во многом, и Жовтынский далеко уступал Митину в энциклопедичности эрудиции. Жовтынский почувал — общение с Митиным даст ему «шанс копнуть на один штык глубже».

Веселая погода, легкий весенний воздух подействовали на Митина и он почему-то говорил, не оглядываясь поминутно на тексты учебников политграмоты. Впрочем, он не давал себе полной свободы и, время от времени прищуриваясь, вглядывался в лицо Жовтынского, словно испытывая его: «А что тебе от меня нужно?» Последнее прошло мимо внимания простеца Жовтынского.

— Как хорошо с вами разговаривать, Андрей Васильевич. Свободно. Нет на вас этой проклятой уздечки. А у наших партийных ребят все, как в мундштуке. Мысль в трензелях, — заметил Ефим Матвеевич.

Впрочем, уходя, он очень тщательно дал понять, что беседа их «пусть останется между нами». Очень это подчеркивал. Ушел он от Митиных поздно.

Кончился и воскресный день. Ночь снова мягким покровом бархатного мрака окутала землю. Потухли огоньки в окнах. Люди легли спать. То там, то здесь под ветками распускавшейся зелени еще мелкали фигуры молодых пар. Кто-то где-то храпел. Кто-то где-то обдумывал заботы завтрашнего дня.

Когда Вася вернулся домой, родители его уже спали. Полный весенних мечтаний о Верочке, полный сил и восторга начинающейся жизни, он мечтал, что все обойдется, он думал о том, что скоро выпускные экзамены, он мечтал о том что он отработает практику и, после обязательных лет на производстве, сможет все-таки поступить в ВУЗ, кончить там курс и жить в Москве. Он мечтал о настоящей научной работе. Ему представлялась квартирка в много-

этажном московском доме, какие он видел на картинках, что он будет жить там с Верой. Представлялось, как сидит в лаборатории в белом халате перед микроскопом, как звонит домой Вере, что не может придти домой к обеду вовремя, потому что будет научное заседание... Потом побежали какие-то бредовые зверюшки, вдруг блеснули глаза Федора Львовича и почти въяве прозвучали его слова: «Пусть они будут прокляты».

Вася очнулся. Из мира мечтаний он как бы свалился на землю, почувствовал себя маленьким, ничтожным и забытым. Стукнули слова: «Дело в райкоме». Широко раскрыв глаза, он стал прислушиваться, не стучит ли где мотор автомобиля. Нет... показалось. Он стал прислушиваться. Все было тихо. На пожарной каланче пробило два. Вася заснул.

УИ. ХОРОШИ КАРАСИ В СМЕТАНЕ

Тикали часы-ходики. Из-за стены доносились голоса соседей, о чем-то между собою споривших. На окошечках примостились герани. В комнате было тихо. Только время от времени шелестели листики тетрадей. За столом сидела пожилая женщина. Она внимательно просматривала ученические работы, пометчая и поправляя ошибки, ставя оценку и заносая каждую отметку в особую тетрадку.

Каждая из ученических тетрадей была разделена на две части: русский и математика. В каждой тетрадке было по 12 листиков. Ученики получали тетрадки через школу, так как в магазинах их не было. Бумага — товар дефицитный. Получение тетрадей в школе было праздником для детей. Каждому доставалось по три, а иногда даже по четыре тетрадки на четверть. С какой гордостью они несли их домой, как бережно обращались с ними в первые дни, оборачивая в газетную бумагу, как старались украсить, расписывая цветными карандашами... Это, конечно, только в первые дни после получения. На второй-третьей неделе обновку забывали и трепали так же, как треплют дети тетради по всему миру.

Словом, тетрадей не хватало. Детям не на чем было писать.

Поэтому Варвара Петровна не могла давать ученикам столько письменных упражнений, сколько было нужно. Тетрадок было мало, и это облегчало бы ее труд. Однако, чтобы сводить концы с концами, Варвара Петровна была вынуждена взять как можно больше уроков, а это значило, что как бы мало письменных работ она ученикам ни давала, каждый вечер она приносила с собою до сотни тетрадок на проверку. Это превратилось для нее в привычный хомут. Каждый вечер она готова была свалиться от усталости, кое-как «промахнуть» странички.. Но с детства воспитанная дисциплина совершала чудо. Варвара Петровна н и р а з у не отложила тетрадок «до завтра». Проверая их, она всегда помнила, как много значит каждая ее пометка для каждого из мальчиков и девочек,

какие надежды каждый из них возлагал на «письменную», какую тревогу переживают дети, вручая тетрадь учительнице, какое глубокое горе испытывают они, когда получают: «неуд».

Но сегодня, несмотря на привычную аккуратность, Варвара Петровна не могла сосредоточиться. Она положила перо и устремила взгляд в окно, откуда был виден двор. Там был колодезь, уже нам знакомый, бегал по цепи Пожкая и дерево, которое мы недавно видели засыпанным вешним снегом, распускало свежие листочки. Солнце заходило. Вершина дерева была еще освещена косыми лучами, но скоро они соскользнули в небытие, и двор начал обволакиваться легкой дымкой приближающейся темноты. Время шло. Варвара Петровна поставила локти на стол, сжала виски пальцами и повторяла про себя: «Господи, Боже мой! Что же теперь будет? Что будет?...»

Недавний разговор с директором школы оставил у нее на душе тяжелое чувство. Оно начинало, было, уже, рассеиваться, а самый эпизод этого разговора начинал забываться. Но вот сейчас, в этот самый воскресный день, который она так спокойно провела с дочерью, новость, ею услышанная, уже к вечеру заставила ее вновь чрезвычайно взволноваться.

Что ж, Вася Митин, конечно знать всего не мог. Но не зря же люди болтают! А для того, чтобы встревожить Варвару Петровну не много было нужно. Из-за этой тревоги она и не могла продолжать работу, и вот теперь сидела задумавшись и упорно повторяла: «Господи, Боже мой! Что теперь будет? Что будет?»

Не стоит играть в прятки. Чтобы положение Варвары Петровны и ее психология были понятны, чтобы стало ясно, почему она так легко встревожилась, опишем вкратце ее судьбу.

Она родилась в обедневшей высокородной семье. Она сама точно не помнила, княжеский или графский титул имели когда-то ее родители, так как еще в раннем младенчестве она осталась круглой сиротой. Приютил ее у себя покойный соборный настоятель о. Венедикт, чтобы наполнить жизнью свой бездетный дом. Девочка у него выросла и воспиталась по духовному. Вскоре после того, как о. Венедикт овдовел, он отдал Вареньку в епархиальное училище, по духовному, так сказать, ведомству. Отдал не из скупости, на казенные харчи спихнувши, а во избежание лишних слуген, что при нем живет молодая красавица. Уже во время войны, этак году в пятнадцатом что ли, Варенька училище кончила и стала учительницей. Прочителствовав в деревне недолго, она потом вернулся в город — покоить старость своего приемного отца. Городок был глухой, и революция прошла мимо Вареньки. Только уже после, во время изъятия церковных ценностей, о. Венедикта убили на паперти, что, конечно, в душе девушки оставило неизгладимый след. Бдительность тогда была относительной, и ей удалось устроиться на работу в школу, учительницей. Она погрузилась в жизнь детей, а сама оставалась безразличной ко всему, что происходило вокруг. Ни радости, ни веселья она не знала. Жила день за днем.

Все-таки, она вышла замуж. Муж ей попался по нашим временам более, чем неудач-

ный. Герасим Матвеевич Спиридонов был из купцов, был студентом и в свое время стал вольнодумцем. Только вольнодумство его было необычным.⁴ Когда все студенчество, по традиции, красилось в розовые, а то и в красные тона и называло вольнодумством свою покорность гипнозу революционного духа, Герасим Матвеевич против этого самого «вольнодумного» гипноза пошел. За это его обозвали реакционером. Но он от своего не отступил, несмотря на шутки, а то и насмешки, которые отпускались по его адресу в студенческих кружках. Решил своим вольным умом жить и на том настоял. Восхищался славянофилами. Превозносил Хомякова, осмеливался говорить о «Выбранных местах...» Гоголя, как о высоко достойном произведении и откровенно «ругал» Белинского. Приятели пытались взять его дружескими уговорами, но напрасно. Чем дальше, тем ярче разгорались его патриотические настроения. Во время Германской войны он пошел на фронт добровольцем, выслужил офицерский чин.

В годы Гражданской оказался, разумеется, на Белой стороне. Во время военных операций его свалил тиф. Когда в ту слободу, где он лежал без сознания, пришли большевики, то крестьяне его не выдали, выходили и потом перепрыгивали сколько-то времени. Потом о нем заботился о. Венедикт, приютивший его в качестве дворника. Следы службы в Белой армии удалось скрыть, но чувств, которые у него возникли к Вареньке, он скрывать не стал. Варвара Петровна отозвалась, полюбила Герасима Матвеевича изо всех сил своей души и

вышла за него замуж, хотя в том времени уже себя и называла старой девой. Свадьбу справили, едва выдержав полугодовой срок траура по приемному отцу, на что, опять таки, были причины.

Ужас происходивших революционных событий, все потрясения, которым он был свидетелем, заставили Герасима Матвеевича искать ответов на вопросы. Он углубился в изучение Евангелия, которое с детства знал и любил. О. Венедикт ввел его в тайны Священного Писания. Героическая кончина доброго батюшки произвела на него потрясающее впечатление. «Когда убивают знаменосца, другой солдат обязан подхватить знамя, чтобы оно не досталось врагу!» — говорил молодой офицер. Он решил сам стать священником, и это заставило поторопиться со свадьбой. Священником, впрочем, Герасим Матвеевич прослужил недолго, т. к. тут же, вскоре после событий с изъятием церковных ценностей, началось дело с обновленческим расколом. О. Герасим стал решительно против обновленцев, а так как последние пользовались благоволением советской власти, то он и попал в Соловки, где вскоре и скончался, не выдержав концлагерного режима.

Варвара Петровна с крошкой Верочкой, которая успела родиться прежде, чем был арестован отец, остались одинокими в мире. Переехали в Вожеград. Мать сжилась со своей бедой. Ей удалось получить место учительницы. Здесь она себя проявила с наилучшей стороны. Дочь и дети в школе заполнили ее дни, и она так и не заметила, как личная жизнь прошла мимо нее. Труд и скорби — вот

каким был ее удел в жизни. Для того, чтобы кое-как отвоевать свое место в жизни и право на кусок хлеба, ей пришлось многое скрыть, и она ни минуты не забывала, что «нет ничего тайного, что не стало бы явным». Свою тайну хранила даже от дочери, и это усугубляло тягость душевной жизни. Она решила воспитать дочь так, чтобы та и не знала о прошлом, чтобы она могла войти в новую жизнь, не испытывая чувства раздвоенности в наступавшем новом мире. Благодаря переезду в Вожеград, Варваре Петровне это каким-то чудом удалось, и Верочка выросла в полной уверенности, что она дочь рабочего. Дочь жила спокойно, но мать...

По советским условиям более неудачную комбинацию, чем жизнь Варвары Петровны представить себе очень трудно. Ее старорежимность проявлялась в каждой ее поступке. Все хорошее, что отсюда проистекало, — ее исполнительность, самоотверженная добросовестность, знание дела, любовь к детям, проявлявшаяся не словом, а делом, — ставили ее в особенное положение ко многим другим учителям. Конечно, ее ценили. Она установила искренние дружеские отношения с коллегами, как с молодыми, так и со старшими, а все-таки между нею и советской частью учителей лежало какое-то невидимое средостение. Ученики ее боялись, уважали, а некоторые даже любили, особенно когда становились постарше. Родители учеников ей абсолютно доверяли и хотя профсоюзник с большой подозрительностью и задумывался о старорежимной учительнице, даже и он давал себе отчет в том, что Варвара Петровна

была клад и что она оказывала доброе влияние не только на школу, но и на весь околоток, к школе тяготевший.

Так бы жизнь и шла, да вот подвели караси в сметане. На Варвару Петровну было дело в райкоме партии.

«Вдруг все всплывет?»... В своем отчаянном оцепенении она просидела часы. Уже зашло солнце, уже стало совсем темно. Уже зажглись фонари на улицах, уже проплыл по небу большую часть своего пути Стрелец и повернулась в небе Большая Медведица, а Варвара Петровна продолжала сидеть и думать. Надо сказать правду, женщина она была не из деятельных, и решимости, предприимчивости в ней было далеко недостаточно.

А потом тихо, на цыпочках в комнату вошла Верочка. Она подошла к матери, мягко положила ей на плечо руку, обняла ее и поцеловала. От Веры нахло весной, радостью и расцветающей любовью.

— Если бы только знала, мама, как мне хорошо!

Сказала и смутилась. Вид матери вдруг сорвал ее с неба блаженства и поставил снова на землю. Перед нею ясно всплыло опять Васино сообщение, о котором они во время своего молодого шатания по весенним улицам забыли, как только пришли к мысли, что «обойдется». А теперь мать и дочь сидели за столом и молча думали. Но разве найдешь решение, когда сам не знаешь, откуда пришла беда и в чем, собственно, она состоит?...

-- Обойдется, мамочка. Успокойся.

Вера улеглась спать, а Варвара Петровна, все-таки проверив все тетрадки, ушла в свою комнатку, тщательно закрыла ставни, отдернула занавеску, которая скрывала висевшую в углу икону, зажгла лампаду и, опустившись на колени, предалась долгой глубокой молитве. «Сам искушен быв, может и искушаемым помощи» ... звучали слова в ее сердце.

*

Теперь последуем в места столь высоко стоявшие, что от одной мысли оказаться в этих сферах, у многих захватывало дыхание.

Комната была освещена настольной лампой. Верхняя люстра была выключена. За большим столом черного дерева сидел человек. Это был председатель вождеградского райкома партии тов. Казюк. Он внимательно читал из папки, перелистывая ее то вперед, то назад, стирая какие-то данные, и делал пометки большим красным карандашом.

У одного из окон, заложив руки в карманы, стоял уже знакомый нам Жовтынский. На кожаном диване, развалясь в покойной позе и перекинув ногу через подлокотник, сидел заведующий РайОНО тов. Панферов. Он устремил внимательный взгляд на лицо читавшего Казюка пытаясь по его лицу догадаться, как он относится к читаемому. Другой член райкома — тов. Рубинчик, — сидел за столом и читал «Известия». В углу комнаты тов. Барнбейм играл в шахматы с начальником спецчасти РайОНО тов. Параниным. Все молчали.

Казюк снял трубку телефона и вызвал номер райкома комсомола.

— Тебя ждем.

Пауза.

— Хорошо . . .

И, обратившись к присутствующим:

— Товарищ Коган сейчас будет.

*

Дело учительницы 6-ой Неполной Средней
Школы гор. Вождеграда Спиридоновой В. П.

Документ первый

Директору 6-ой НСШ тов. Волкову

От пионервожатой чл. ВЛКСМ Софии Гуд-
зик

20-го февраля 19.. года

Из разговоров с детьми я выяснила, что учительница рус. яз. Спиридонова дает примеры детям разжигающие аппетит а это возбуждает настроение против Сов. власти. Дети стоят в очереди за хлебом, через что не сумевают готовить уроки и приходят в школу раздраженные а им Спиридонова дает примеры разжигающие аппетит особенно когда им не удаецца достать хлеб и их за это родители бьют.

Из предлагаемой тетради я вижу подтверждение что это есть неизвинительная вылозка класового врага и прошу вас рассмотреть это дело как оно может иметь последствия для школы, для партии и правительства и лично тов. Сталина в данный текущий момент.

К сему София Гудзик

Копия райкому ВЛКСМ тов. Когану лично.

С. Г.

*

Стоит упомянуть, что, когда Волков в первый раз читал этот документец и дочитал его до последней строчки, и на нее обратил особен-

ное внимание, он не удержался, чтобы не воскликнуть:

— 'от сволочь!

Да и как не воскликнуть было. Если бы Гудзик не послала копию в райком комсомола, Волков мог бы дело закончить по домашнему, не вынося сор из избы, и не подводя никого под беду. А при таком положении он оказался вынужден дать делу ход. Помимо того, что было противно от кляуз, само дело вызывало хлопоты, потерю времени и беспокойство. Это раздражало, и свое раздражение Волков излил на Варвару Петровну в том разговоре, о котором уже было упомянуто, однако, не решившись открыть ей карты. Основной же документ ему все-таки пришлось послать в РайОНО, откуда он и попал в райком партии.

*

Документ второй

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
(Это мелким курсивом в правом верхнем углу).
Посередине крупно: Т Е Т Р А Д Ь. Потом
вперемежку печатные полуслова и дописанные
детской рукой окончания: для классных работ
по русскому языку, алгебре и геометрии. Ученика
УП-го класса «Г» Григория Стеценко.

На обложке тетради крупно красным карандашом: «См. 7-ую страницу», и подпись: С. Гудзик.

На 7-ой странице тетради:

Классное упражнение 12-го февраля на прилагательное сказуемое. Ряд фраз. Ошибки аккуратно поправлены красными чернилами рукою Варвары Петровны. Одна из фраз обведена красным карандашом, тем самым, которым

София Гудзик сделала пометку на обложке тетради. Эта фраза была: «Х о р о ш и к а р а - с и в с м е т а н е»

*

Документ третий

Характеристика учительницы тов. Спиридоновой от директора 6-ой НСШ г. Воздеграда тов. Волкова.

Исполнительна, аккуратна, прекрасно знает предмет. Абсолютно грамотна. По возрасту своему аполитична и неактивна. На собраниях не выступает. Порученную ей профсоюзную работу выполняет отлично.

Подпись: Волков

Пометка: Подтверждаю. Зав. РайОНО Панферов.

*

Документ четвертый

Характеристика пионер-вожатой С. Я. Гудзик от секретаря райкома ВЛКСМ И. О. Коган.

Лучшая активистка. Проявляет бдительность. Отличница партучебы. Пролетарского происхождения. В ВЛКСМ состоит с 1932 г. Имеет заслуги по работе в деревне во время хлебозаготовок и коллективизации. Заслуживает полного доверия и поощрения.

Подпись: И. О. Коган

*

Документ пятый

Секретарю райкома ВКП(б) г. Воздеграда тов. Казюку

Ознакомившись по Вашему поручению с делом учительницы 6-ой НСШ Спиридоновой В. П., как по документам, так и по опросу учителей означенной школы и родителей учеников,

полагаю, что дело выведенного яйца не стоит. Гудзик — неграмотна и завистлива. (Дура!) Полагаю: указать директору школы тов. Волкову, чтобы он проявлял больше внимания к старым учителям в силу их политической неграмотности и инертности.

28 февр. 19 . . г.

Директор кабинета партучебы
Жовтынский

Дальше шли документы менее и менее значительные. Здесь были, главным образом, отзывы, собранные райкомом о Варваре Петровне. Отзыв от домкома, от профуполномоченного и другие. Вверху каждого из этих отзывов стояло тщательно выведенное — «Совершенно секретно». В тоне было желание сделать приятное райкому и как-нибудь костыльнуть Варвару Петровну. Каждому из людей, дававших отзыв, было лестно принимать участие в секретном деле. Доверие партии — капитал! Однако, фактически инкриминирующего материала никто о ней дать не мог. Оставалось фактом, что она и за квартиру платила исправно и членские взносы вносила аккуратно.

Пожалуй, заслуживают упоминания еще два отзыва: от штаба, стоящего в Вожеграде полка Энской дивизии, где Варвара Петровна давала уроки русского языка командному составу, и от политотдела того же полка. Штаб вполне независимо давал самый блестящий отзыв, а политотдел просто и совершенно безапелляционно писал, что она есть несомненно классово чуждый элемент. Впрочем, фактов для доказательства последнего представлено никаких не было, почему и самый отзыв оказался лишенным веса.

Вот в этом и состояло дело в райкоме партии, которым оказались так встревожены уже известные нам персонажи этой повести. Все дело было в том, что учительнице надо было объяснить детям правило на прилагательное сказуемое в краткой форме, и что для этого она воспользовалась примером из старого учебника дореволюционного времени, когда никому и в голову не приходило, что пример, возбуждающий аппетит, может отразиться на судьбе человека. Этот пример был: «Хороши караси в сметане».



Через несколько минут пришел тов. Коган. Казюк произнес полуофициальное, ставшее традиционным: «начнем пожалуй»... Претензия общности к русской оперной культуре, где так заметно эти слова звучат в сцене дуэли Онегина с Ленским. Казюк этого, конечно, не знал, а просто перенял пример от выше стоящих. Заседание началось. Все оставались на своих местах, но приняли позы, свидетельствовавшие, что каждый из них понимал важность происходившего, что каждый из них есть часть единого целого, и что от правильности решения зависят обстоятельства чрезвычайные.

Обсуждение свелось к определению факта: является Варвара Петровна классово чуждым элементом или нет? Коган без конца превозносил Софию Гудзик. Панферов молчал. Он был сильно смущен тем, что, как выходило, он дал хороший отзыв классовому врагу. Казюк, которому это дело уже надоело и навязло в зубах, хотел дело прекратить, основываясь на неграмотности доносительницы (он был бы рад

сунуть спичку в нос Когану, т. к. был с ним не в ладах по поводу ссоры их жен. В доме партработников их квартиры были рядом). Выступление Казюка накренило, было, дело Варвары Петровны в пользу обвиняемой.

Но тут, откуда ни возьмись, вынырнул Барнбейм с инкриминирующим фактом: ему точно известно, что в задней комнате учительница Спиридонова держит иконы и зажигает перед ними лампадку. (Надо сказать, что Варвара Петровна один раз забыла закрыть ставни, а на ту беду старшая дочь Барнбейма проходила мимо и видела). Казюку пришлось прихлопнуть рот.

Потом слово взял Паранин. Это — начальник спецотдела РайОНО. Он прежде всего напустился на Жовтынского. Сделал это тонко, вежливо и аккуратно. Отдав долг революционным заслугам своего оппонента, он сказал, что, конечно, тов. Жовтынский не позволил бы себе отнестись к делу так поверхностно, если бы ему было известно, что Спиридонова — княгиня. Произнеся это, он поднялся с места и положил на стол Казюку копию выписи из метрической книги, потребовав, чтобы бумага была приобщена к делу. Тут поднялся шум. Слышались возмущенные голоса, а кто-то обронил даже фразу, что дело должно быть передано прокурору.

Жовтынский сидел попрежнему на подоконнике и весело поглядывал на собравшихся и на их поведение. «Ну и сволочи! — думал он. — Им лишь бы человека съесть. Постоите, кость вам всем в горло. Я вас всех сейчас за-

дешево куплю». Он встал, и это движение заставило всех поднять глаза на него.

— Позволь? — обратился он к Казюку.

Тот кивнул в знак согласия.

— Дело, конечно, надо прекратить, оставив без последствий...

В кабинете произошло резкое движение. Жовтынский продолжал:

— Я, товарищи, написал, что дело выеденного яйца не стоит, и от своей точки зрения отказываться не собираюсь. Тут мне прозвучал укор вроде как бы в смысле потери мною бдительности. Обнаружилось, что эта учительница когда-то была княгиней. Что ж за беда? А разве не сказал товарищ Сталин, что сын за отца не отвечает? Сказал. А разве наш пролетарский писатель Алексей Толстой не граф?

— Да-а-а... Но... — начал было Паранин.

— Сказал товарищ Сталин, или, это кто другой говорил?

Паранин осекся. Кто-то резко двинулся в кресле. Почувствовалось, что Жовтынский одолел. Он продолжал:

— Говорили тут еще про лампадки. В самом деле, с предрассудками у нас, товарищи, сами знаете, дело все еще неважно обстоит. Ведь это твоя бабушка детям мацу в бутерброды завертывала в школу? — бросил он Барнбейму.

— Маца с колбасой это очень просто. Что значит? Бабушка заворачивала? Так моя же бабушка в школе не учит, а Спиридонова?..

Мешигене коп! — презрительно бросил он Жовтынскому. Все засмеялись.

— Ладно, там. Коп, или не коп. Не важно это. Лампадки на работе не отражаются, а вам для строительства социализма прежде всего нужна честная работа, товарищи. Спиридонова отличная учительница. В этом двух мнений не было и нет...

Папферов с чувством облегчения вздохнул.

— Спиридонову обвиняют здесь в том, что она продиктовала детям фразу, разжигающую аппетит, когда дети голодны. Так?

— Так, — отозвалось несколько голосов. — Тебе-то самому как бы понравилось на голодный желудок слышать про карасей в сметане?

— Разумеется, мы имеем дело с вылазкой классового врага, — раздраженно подпрыгнул Коган. — Голодного дразнить это...

— Брось дурака валять! — начинал горячиться и Жовтынский. — А кто у нас голодный? Почитай, что говорит товарищ Сталин! «Жить стало лучше, жить стало веселей!». А твоя гудзиковая дурища про голодных детей пишет, которым будто бы не удастся достать хлеб в очереди, и которых за это родители бьют.

В этот момент, в представлении Жовтынского вдруг возник тот именно хвост, что стоял за маслом, в день, когда он встретился с Митиным. Мелькнули полные радости глаза Митина, когда он принес ему масло. Не дав себе остановиться на этом, он, не моргнув глазом, так же бойко продолжал:

— ...да ты сам-то разве не понимаешь, что я сейчас эту гудзиковую доносительную записку снесу куда следует, и ее там за антисоветскую агитацию посадят. Выдумала — «в советской стране голодные дети!»

Каждый из присутствующих сделал движение под впечатлением только что сказанного, словно им Жовтынский по гвоздю в пятаку всадил. Переплет получался действительно сложный. Гудзик выболталась, сказала правду, и тем самым попала пальцем в небо. Все чувствовали себя смущенно. Жовтынский с видом победителя продолжал:

— Перестаралась кретинка, а ты и рад. «Бдительность!» — горячился он. — Подумаешь, какое громкое дело затеяла! А?.. Ты бы лучше, товарищ Коган, сам проверил, не архиерейская ли дочь твоя эта дубина стояросовая. Может она-то именно лампадки тоже зажигает? А... Смотри-ка: такое провокаторское дело пишет. что кажется бдительностью, а на самом деле искажает действительность в угоду классовому врагу. У нас, товарищи, есть газеты, в которых мы слышим мнение партии и правительства и лично товарища Сталина, и нечего, понимаешь ты, строить представления о жизни по тем случайным обрывкам, что попадают перед твой ограниченный взор. В отдельных переборах виновны больше всего мы сами. Мы — ведущая часть. Райком. Но обобщать это?.. Что мы знаем? Что говорит товарищ Сталин? Есть у нас в социалистической стране голодные? Запомни: их нет. А если тебе показалось, так не гогочи на весь район. «Дети го-

лодные!» — иронически добавил он. — Дура твоя Гудзик!

Он продолжал говорить в том же гневном ироническом тоне. Дело действительно получалось презапутанное. Гудзик по существу была права. Несчастные детишки, голодные не могли пройти мимо аппетитной фразы о карасях в сметане. Она в самом деле раздражала аппетит и вызывала голодное озлобление к власти имущим. О настроениях детей никто громко не говорил. Все присутствующие знали, что одна девочка в школе на парте вырезала слова: «Смерть Сталину», и что учителя этот случай замяли. Официально говорить об этом, а так же точно и о той правде, что дети голодны, было нельзя. Тем более писать. Попади гудзиковский документ в руки иностранным корреспондентам, они могли бы разделать такую компрометацию колхозно-социалистической системы, что любо-дорого. На этой то внутренней лжи Жовтынский из человеколюбия и сыграл. Просто ему стало жалко человека, труженицу. И эта самая советская путаница между ложью и правдой ее и спасла. А Жовтынский еще больше поддавал масла в огонь. Он продекламировал данные из какого-то статистического сборника о том, насколько лучше стали трудящиеся питаться при колхозах и после социалистической индустриализации. Свежий выпуск «Спутника пропагандиста» с этими данными он тут же положил Казюку на стол. — Можешь подшить к делу!

Все были опутаны ложью и вырваться из нее никто не мог. Члены райкома знали в чем дело, но им нечем было аргументировать. Они

чуяли, что хотели втоптать в грязь человека, что втоптать было можно, хотя и единственная надобность была лишь в том, чтобы себе присвоить лавры бдительности. Сознавали, что сделать это было бы можно, но что именно из-за их же собственной лжи они этого сделать не могут.

Дело, которое должно было пойти к прокурору и повлечь за собою арест Варвары Петровны, ограничилось решением в том смысле, что заведующему РайОНО тов. Панферову предложили, по возможности скорее (как только найдется кем заменить) учительницу Спиридонову от работы уволить без права работать в органах народного образования, и с занесением в трудовой список. Основание — сокрытие чуждого социального происхождения. Варвара Петровна, таким образом, отделялась легкими ушибами в катастрофе, которая могла стоить ей головы.

Жовтынский был рад своей победе.

Спускаясь по лестнице после заседания, Паранин бросил Когану:

— Диалектик он, конечно, замечательный, но правильной большевистской бдительности в нем нет.

Члены райкома чувствовали, что Жовтынский восстал. А сам он?.. По простоте своего характера, по искренности своей натуры, он не задумывался о последствиях. Он был, кроме всего, слишком уверен в себе, так как был убежден, что его биография, его образование, заслуги в Гражданской войне — обеспечивают ему иммунитет. Выйдя из здания, где помещался райком, он прошел несколько квар-

талов вместе с Казюком, говоря с ним о необходимости принять меры к ликвидации прорывов на фронте выпечки хлеба. Факты говорили за себя — хлеба не хватало. Казюк был беспомощен. Сделать ничего он не мог, кроме слепого исполнения директив сверху. Оставшись один, Жовтынский вздохнул полной грудью и, вспомнив только что прошедшие дебаты в райкоме, покачал головой и произнес про себя:

— Н-ну и ну! Хороши же караси в сметане.

А потом добавил :

— А ведь и парттруба иногда на что-нибудь годится. Особенно, когда хорошо играет.

Жовтынский не подозревал, что в тот же вечер Паранин сделал подробный рапорт о происшедшем заседании, что рапорт этот последовательно оказался подшитым в дело для дальнейшего выяснения личности Жовтынского, Спиридоновой и всех, кто с ними имел дело. В здании, на котором велась надстройка, огни продолжали гореть, как обычно, до самого утра.

VIII. СТО ТЫСЯЧ

Оставим теперь Варвару Петровну в тревожном неведении о том, к чему приведет дело в райкоме. Оставим и молодых людей, Васю и Веру. Не станем копаться в их юных душах. Огнисьвая, как и что, и почему влекло их друг к другу. Есть и без нас много описаний этих

романтических обстоятельств. Не станем заниматься наблюдением над тем, как развивалась дружба между Жовтынским и Митиным. Пусть решение дела в райкоме останется нашим секретом. Жовтынский знает, да должен молчать. Да и он не все знает. Знаем мы, а герои наши не знают.

Сейчас нам придется сделать некоторое уклонение в сторону, вырвать новый эпизод из жизни, взять его, несмотря на то, что он очень мало имеет отношения к прямому ходу действия, лишь отчасти будучи с ним связанным.

Последуем за одним из второстепенных персонажей. Это — Попов. Тот самый Попов, который работает главным бухгалтером в вождеградской райконторе «Заготзасол и т. д.». Вы его помните?

Баланс был в свое время закончен, командировка в Москву выписана. Анне Митрофановне удалось достать денег для покупок, чтобы снабдить отъезжавшего. Все шло своим чередом, как по маслу.

Едучи в Москву, Попов был очень взволнован. Беспокоил его, конечно, не баланс. Он был в полном порядке. Не беспокоили его и денежные вопросы личного характера, ибо, хотя командировочных и не хватало, Иван Васильевич умел себя ограничивать даже в необходимом. Его больше всего волновал вопрос о том, где остановиться? Гостиницы?.. О них не могло быть и речи. В гостиницах комнат для приезжающих нет, а есть только в тех, где никаких командировочных денег не хватает. Рассчитывать можно было бы на Дом Крестьянина, или, как его к тому времени уже называли,

Дом Колхозника. Там, того и гляди, можно было бы получить койку в общей комнате, если переждать дня три-четыре. Эти ночи можно было спать в ожидалке Дома Колхозника, расстелив на полу «Правду», «Известия» или, на худой конец, «Рабочую Москву». Но у Попова дело обстояло значительно хуже. И этот путь ему был закрыт, так как во всех гостиницах и домах колхозника надо было предъявлять паспорт. А в паспорте у Попова было записано, что ему въезд в Москву запрещен. Выписывая командировку, директор Заготзасола этого как-то не заметил, а Попов смолчал, так как ему очень хотелось побывать в Москве. Теперь он ехал туда фуксом.

Надобно знать, что паспорт его был выдан на сто первом километре, и на соответствующей странице паспорта красовался штамп «Постановление ЦИК». Тот, у кого такой штамп был, лишался права жить в центрах. Центров было много, а Москва — самый главный.

У Попова в Москве был друг. Здесь-то и можно было надеяться на ночлег. «Один-два дня без прописки?.. Сойдет!.. Да вот от друга давно не было писем. А что если посадили?..»

Волнуемый этими мыслями, Иван Васильевич стоял между поднятых полок вагона, опершись на них локтями, и задумчиво глядел на проносившиеся мимо окон знакомые пейзажи. Поначалу сесть в вагоне было негде, но часа через полтора езды, когда из вагона вышли крестьяне, ездившие в Вождеград на базар, в вагоне стало свободнее. Ивану Васильевичу

сначала удалось примоститься с краешка нижней лавки, потом он забросил свой чемоданчик на третью полку. Когда стало смеркаться, он сам на эту полку и забрался. Повернув стоявшие там чемоданы так, чтобы было место лечь, вытянулся, свесив ноги за край полки и, убаюканный раскачиваньем вагона, стал засыпать. Уже поплыли в голове какие-то фантастические образы, уже начали мешаться мысли, уже пробежала по телу легкая судорога, и Иван Васильевич стал засыпать, как по полке застучали железными щипцами.

— Билетики, граждане.

Их было трое: проводник, контролер и стражник. Проводник светил фонарем, контролер проверял билеты и прощелкивал их. Стражник проверял документы.

— Паспорта не забывай, — сказал стражник кондуктору.

Если вы не знаете чувства, когда душа уходит в пятки, спросите у Ивана Васильевича. Он именно в этот момент испытал это состояние физически. Предъявлять свой паспорт для него значило почти что погибнуть. Но он был сообразительным человеком и, вместо паспорта, с билетом протянул свой профсоюзный билет. («Может быть пройдет?»). Впрочем, контролер равнодушно прощелкнул билет, даже не взглянув на профсоюзную книжку. При этом он произнес:

— Не надо. Это проверяем, когда кто по льготным.

Иван Васильевич облегченно вздохнул. Он ехал не по льготному билету. Тем не менее, стражник все-таки поинтересовался, пос-

мотрел на профсоюзную книжку: открыл ее и внимательно сверил фотографию с лицом владельца книжки. Убедившись в сходстве, он вернул книжку Попову.

«Воспаление бдительности» — подумал Попов. Бригада пошла дальше. Он уснул.

Прошла ночь. Прошел день. Стучали колеса. Мелькали станции, мосты, поля, рощи, реки... Сверток со скромной закуской, которою с дорожным кипятком довольствовался Попов в дороге, уже почти кончался. Пришлось растягивать. Но вот к вечеру третьего дня начала чувствоваться Москва. Уже проехали Тулу, миновали Серпухов. Его сады к тому времени чуть тронулись зеленью, но листья на деревьях еще не распустились. Не юг. В Вожегде уже все было зелено, а тут — холодно.

Вот замелькали подмосковные пригороды. Вот на платформах этих пригородов — толпы людей, едущих дачными поездами. «Подмосковичи»... Наконец, поезд втиснулся между перронами Курского вокзала и остановился.

Москва встретила Ивана Васильевича холодным весенним дождем, изморосью и туманом. По вокзальной площади сновали автомобили, погромыхивали трамваи. Попов, отвыкший в провинции от столичного шума, долго стоял на ступеньках вокзала, любясь сутолокой московской жизни. Воняло перегорелым бензином...

Хороша Москва! Что-то в ней есть неизменно любезное русскому сердцу, и даже разгромленная и искалеченная разрушительным строительством пятилеток, она наполняет русское сердце нежным трепетом и восторгом.

Особенно близко это чувство тому, кто жила в Москве. Близко оно было и Попову.

Но вот подошел и трамвай. Иван Васильевич втиснулся в вагон, и тот не торопясь потащил его вдоль по Садовому кольцу и Малой Дмитровке, где жил его приятель. Все обошлось просто и хорошо. Приятель, по какому-то странному совпадению оказался дома. Он был рад приезду Ивана Васильевича, уступил ему свою постель, сам улегшись спать на полу, и успокоил, что на пару дней можно обойтись и без прописки. Однако, условились, что если ночью придут с проверкой документов, то Ивану Васильевичу придется прятаться под кровать, чтобы чего не вышло.

Не писал приятель, оказывается, не потому, чтобы его сажали или что, а просто у него были неприятности с квартирой, ибо дом, где он жил, должен был идти на слом, и он метался по Москве в поисках жилья. Жилья, разумеется, не нашел, но как-то случилось, что дом почему-то решили временно не сносить, и он пока что остался в своей клетушке. Прежде это была ванная комната, но ванну давно убрали. Несмотря на то, что по стенам висели трубы, и было только маленькое оконце под потолком, комнатка выглядела довольно уютно. Приятель-то был художником.

За стаканом чая с настоящими московскими калачами друзья провели вечер, вспоминая былое.

На другое утро Иван Васильевич отправился в Главконтору Союзагортзасолплодовоощбыта на Мясницкую улицу 47. Улицу уже давно пе-

реименовали в улицу Кирова, но народ еще не привык, и называли ее по старому.

Попов знал Москву и любил ее. Здесь он провел свои студенческие годы, здесь женился и потом овдовел, здесь работал. По душе он был литератором, но сам не писал. Не случилось. Здесь, в Москве, он бегал по литературным вечерам, по театрам, по выставкам и музеям, по церквам, выбирая из них самые старинные и художественные. Участвовал в нескольких кружках. Знал он каждый камешек московский, каждый в городе памятник, как специально воздвигнутый, так и сделавшийся предмет исторического почитания за свою старину или за события, с ним связанные.

Вот тут, в этой церкви венчался Пушкин... вот с этого дома Толстой писал дом графов Ростовых... вот здесь жила Ермолова...

Начав жизнь в молодости, как учитель истории в мужской гимназии, он прожил в Москве ужасные годы революции, безвременье февраля и кровавые ужасы октября. Потом пошла жизнь, в которую даже было интересно втягиваться. Потом где-то, как-то выступил с речью о необходимости сохранения исторических памятников. Это выступление совпало с разрушением Иверской часовни. Иван Васильевич попал на Лубянку. После Соловков, отбывал еще три года дополнительных в Каргополе. До паспортизации как-то существовал в Москве, но тут его выгнали на сто первый километр. Он переехал в Можайск. Все поближе к пепелищу... Потом, в силу обстоятельств, пере-

брался на жительство в Вождеград. Здесь постоянно вспоминал Москву. Тосковал.

Сегодня Иван Васильевич вышел пораньше, чтобы пройтись пешком по улицам, подышать московским воздухом. Спустившись от Садовой по Малой Дмитровке, он увидел кучи щебня, еще оставшиеся от великолепных зданий Страстного монастыря. Он зажмурился. Налево по Дмитровке он увидел Путинковскую церковь. «Надолго ли?»... Затем вдоль бульваров, вниз, под горку, через Трубную площадь, потом вверх по Сретенке... и всюду его взору представлялись картины разрушения московской русской православной старины, картины надругательства над тем, что было ему дорого. Это называлось строительством социалистической Москвы.

За те сорок минут, что он шел по улице, он насчитал девять закрытых, разрушенных и полуразрушенных храмов и монастырей, считая только те, мимо которых он проходил. Было больно и оскорбительно. Он — коренной москвич, русский человек, должен был скрываться. В Москве ему было запрещено проживать. Москва, между тем, была полна пришлым посторонним элементом, и чем меньше близости было у этих новых людей с Москвою, тем более нагло и развязно они себя вели, чувствуя себя хозяевами жизни. «Москвачи!» — презрительно бросил Иван Васильевич...

Но вот и Мясницкая с ее знаменитым домом № 47. Удобное, светлое здание — коробка из железобетона и стекла, выстроенное на месте церкви, вмещало бесчисленное множество центральных контор, в которых учетный, тех-

вический, плановой, научно-исследовательский и административный персонал сидел друг у друга почти что на плечах.

Предъявив при входе свое командировочное удостоверение и получив пропуск, Попов на лифте, который почему-то называется «пәтер ностер», поднялся на четвертый этаж и пошел в центральную бухгалтерию. На всех дверях были таблички с названиями отделов и секций. Без таблички была лишь одна дверь. Установленная мягким войлоком и обитая клеенкой, снабженная маленьким окошечком, она не нуждалась в надписи. Это был секретный отдел, т. е. местный отдел ГПУ в данном учреждении. Проходя мимо секретной комнаты, Попов почувствовал привычную эмоцию страха, ощущение души, уходящей в пятки. Противное, унижительное чувство затравленного, до последнего дыхания загнанного зверя.

Вот и бухгалтерия. По счастью, главный бухгалтер мог принять Попова тотчас же. Он представил Ивана Васильевича главному директору, принял от него баланс, обещав его рассмотреть в течение ближайших трех дней. «Пока поживите в Москве».

Сегодня Попов был свободен и мог отправиться на рекогносцировку по поводу покупок, которых так ждали в Вождеграде. Ивану Васильевичу не хотелось ехать на метро и, чтобы побольше поглядеть на любимую Москву, он пошел пешком. Прямо по Мясницкой, через Лубянку и Пушечную он отправился за покупками. Проходя Лубянскую площадь, он с грустью взглянул на опустевший левый угол. Здесь когда-то была церковь Гребневской ико-

ны Божией Матери. Она особенно была ему дорога, так как здесь он венчался. На месте храма был какой-то киоск. Справа возвышались громадные здания ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ. До революции в здании, ставшем главным, помещалось страховое общество «Россия». Был страх, теперь — ужас, — гласила московская шутка. Хотя это удлиняло путь, Иван Васильевич обошел площадь слева. Слишком было тяжело проходить под сенью этого дома, но и дальнейший вид был неутешительным: Китайгородская стена разрушалась, а от Пантелеймоновой часовни оставались только развалины. Всюду то же самое, то же самое — разрушение памятников Русской старины и святынь, дорогих сердцу русского москвича.

Потом он спустился по Пушечной. Вот и Неглинная. Мюр.

Магазин Мюр и Мерелиза давно был наименован каким-то длинным советским титулом, но титула этого никто не знал. На языке Москвы этот магазин назывался «Мюр». Прекрасно украшенные витрины вызывали отрадное впечатление и обнадеживали. Попов вошел.

Грамофоны, велосипедные части, фотографические аппараты, музыкальные инструменты... Мимо, мимо. Выше по лестнице. Вот, наконец, и мануфактурный отдел. Вот там дальше обувной, вот — готовое платье. Но об этом можно было судить только по табличкам. У пустых полок стояли продавцы. Делать им было нечего, и они охотно отвечали на вопросы Ивана Васильевича. Объяснили, что товара на полках нет, так как сегодняшний лимит уже

продан. Посоветовали приходить к началу торговли, т. е. к восьми часам утра.

Являться в контору по делу о балансе надо было к десяти, таким образом, было время, чтобы утром зайти за покупками.

Ровно без пяти в восемь утра следующего дня Иван Васильевич Попов уже был на углу Неглинной и Пушечной. У каждой двери Мюра он увидел шумную, многолюдную толпу. Присутствие милиционеров умирало буйный дух толпы, почему давка у дверей была умеренной. Вскоре открылись двери магазина. Толпа хлынула внутрь. Послышались крики. Кого-то прижали, кто-то отчаянно пробивался локтями, кто-то, отшибленный толпой, стоял на тротуаре и с ужасом, в глазах наблюдал происходившее. Толпа всасывалась необыкновенно быстро. Очевидно, только что проскочив в дверь, люди бросались бегом к интересовавшим их отделам. Когда толпа вся всосалась в магазин, Попов последовал внутрь. Попытка, мол, не пытка. Он поднялся по лестнице и пробовал присоединиться к толпе, облепившей прилавки и запрудившей проходы между ними. Шум и давка были неописуемы. Люди не выбирали. Они торопливо называли нужный им товар, продавцы, не потрудившись показать, отмеривали и заворачивали, покупатели расплачивались и, довольные, протискивались через толпу со своими свертками. Шныряли карманщики. Кто-то со слезами жаловался на покражу только что купленного товара. Огорошенный Попов придерживая карманы и растерянно смотрел на то, что было перед его глазами.

Он решил пристроиться к толпе, надеясь, что все-таки ему что-то достанется. Но оказалось, что толпа имела свой неписаный закон очереди. Очередь, как оказалось, формировалась ночью. Лимита на всю очередь никогда не хватало и Ивану Васильевичу пришлось отложить попечение. До завтра. Был доволен хоть тем, что выяснил обстановку.

После нескольких часов работы в конторе, где он давал разъяснения бухгалтеру главконторы, принимавшему баланс, Попов решил посвятить время посещению еще кое-каких из любимых московских уголков. Съездил на Ваганьково кладбище, на могилу к жене. Едва отыскал печальный, одинокий холмик. Потом поехал на Варварку. Ему хотелось подышать воздухом дворца Бояр Романовых. Теперь здесь находился «Музей боярского быта XVI-го века». Музей был закрыт по какой-то причине. Действительно, этот музей был в числе тех, куда попасть было крайне трудно, так как он постоянно бывал закрыт то по случаю ремонта, то по случаю пополнения новыми экспонатами, то еще по каким-то причинам, словно бы власти опасались, что музей этот может вдохнуть в души посетителей «нездоровые тенденции».

По Варварке Попов вышел на Красную площадь. Обошел вокруг закрытого «Василия Блаженного» и пошел в сторону Никольских ворот. У мавзолея Ленина жалась от холода довольно длинная очередь желавших посмотреть мертвого Ленина. Иван Васильевич пожал плечами. «Однако, культ начинает входить в быт?..» Вспомнился заяц, которого можно

обучить играть на барабанах, если его долго бить. Мелькнуло — «Панургово стадо», и, тут же: «Ну, это уже прошлое. Панургово стадо уже прыгнуло. Давно прыгнуло... Но кто же думал?.. Кто думал?»

Думать, конечно, надо было раньше. Много раньше.

А в Пушкинском музее Попов задержался, долго и с любовью разглядывая памятники, относившиеся к жизни великого поэта. Проходя потом по Моховой, с удивлением осматривал новые многоэтажные постройки, заменившие когда-то богатый яствами одноэтажный Охотный ряд. Поглядел на новое здание посольства Соединенных Штатов и долго пытался вспомнить, как именовалась та церковь, на месте которой теперь воздвигнуто это импозантное здание. Так и не вспомнил.

Потом, поднялся по Тверской и вскоре оказался «дома», то-есть у приятеля в бывшей ванной комнате. Приятель его уже заждался. Начинал беспокоиться.

— Думал, не забарабали ли вас с вашим-то паспортом по какому-нибудь случаю?

Вечер прошел незаметно. Утомленный прогулкой и впечатлениями, Иван Васильевич быстро уснул и крепко спал. В два часа ночи приятель его разбудил. Попов встревоженно проснулся.

— Что? Проверка документов?..

— Нет. Ведь вы хотели идти в очередь к Мюру. Пора.

Приятель решил воспользоваться компанией Попова, так как одному такой поход казался не под силу. «Вдвоем веселее».

Придя по пустынным улицам к Мюру, они посмотрели на часы. Было три с малым. У дверей не было никого. Попов с приятелем оказались первыми и с гордостью взяли за ручку двери. «Теперь не отпущу!» Они закурили и обменялись одобрителными замечаниями, похвалили себя за то, что рано встали, и назвали себя молодцами. Но молодечество их длилось недолго. Не прошло и десяти минут их стояния, как к ним подошел милиционер:

— Граждане, устраивать очередь не разрешается. Проходите.

— А как же?

— Прогуливаться вот. Это можно. Это разрешается.

Наши молодцы только тут заметили, что число гуляющих по этому участку Неглинной было много больше, чем следовало бы ждать в такой час такой непогожей ночи. Моросило и было холодно. Зябко.

Делать было нечего. Они стали прогуливаться. Не успели они сделать два-три тура от угла к углу, как к ним подошел какой-то субъект.

— Вы за чем ходите, граждане?

Они не поняли вопроса. Субъект повторил:

— За чем, говорю, ходите? За мануфактурой? За готовым? За обувью?..

Оказалось, что гуляющие поддерживали определенный порядок очереди. Здесь были все элементы настоящей, культурно построенной очереди. Каждый знал «кто последний» и «за кем он гуляет». Каждый имел свой поряд-

ковый номер. Хмурый субъект с готовностью ввел наших приятелей в тайну организации дела. Им были присвоены номера 15-ый и 16-ый. Молодцами они себя уже не чувствовали. Гуляли, зябли и то и дело слышали среди других гулявших: «Вы за чем ходите? Вы за кем ходите?»...

Чем ближе к концу ночи, тем больше народу подходило. Когда же пошли трамваи, народ повалил лавиной. Милиционер все время наблюдал за порядком, не позволяя очереди выстраиваться. Люди нервничали, боясь потерять из виду своего предшествующего. Наконец, часы подошли к восьми. Милиционер сделал знак рукой и быстро возле двери образовалась толпа. Порядок номеров перемешался, но все-таки те, кто пришли пораньше, заняли преимущественные места близко от дверей.

Наконец, дверь открылась. Наши приятели, продавившись с толпой сквозь двери, ринулись бегом по проходу к лестнице, ведущей во второй и третий этажи. Но у лестницы они столкнулись с таким же потоком очереди, мчавшейся от двери, выходящей на Петровку, и от двери, выходящей на Кузнецкий мост. На лестнице все перемешалось. Оказалось, что уличная очередь годилась только для права входа в дверь. Добежав до заветных прилавок мануфактурного отдела, Попов оказался не 15-ым, а в лучшем случае сотым. Но даже и такое место было не безнадежно. Началась тревога ожидания. Успеется к десяти, или не успеется? Хватит товара, или нет?..

Но все-таки ночное бдение оказалось не напрасным. Перетревожившись, утомившись

до нельзя, потеряв в толпе две пуговицы от пальто, Попов все-таки смог купить себе отрез на костюм и без малого в десять вышел на Театральную площадь со свертком в руке. На метро он быстро доставился в контору.

Отрез на костюм, купленный только что Иваном Васильевичем, составил в главконторетему, гораздо более оживленную, нежели баланс, который подлежал обсуждению. Москвичи с завистью смотрели на покупку, жаловались, что спекулянты из провинции устраивали очереди и скупали лимиты товара, лишая самих москвичей возможности пользоваться московскими универмагами. Попов защищал провинцию, указывая, что, если в столице хоть что-нибудь можно достать, то в провинции решительно ничего нет. Москвичи проахали, и вскоре занялись обсуждением баланса по-настоящему. А все-таки, между делом, дали еще несколько адресов, где можно сделать попытку покупок.

Прошло несколько дней. Проверка баланса продолжалась, покупательные попытки Ивана Васильевича были то более, то менее удачными, вечерами он пытался навестить кое-кого из старых друзей и даже кое-кого застал... Дышал московским воздухом и, наконец, стал забывать, что в Москве он находится фуксом.

Но вот и баланс утвержден. Вот получена одобрительная резолюция на докладную записку директора вождеградской конторы. Вот пожаты руки московской бухгалтерии, и Иван Васильевич шествует «домой». Решил взглянуть на Сухареву башню. Конец ему показался недалеким и, привыкнув в провинции к передви-

жению «пер педес апостолорум», он и не посмотрел на трамвай. Пошел пешком.

Башню видеть не пришлось. Она уже была разрушена. Но тут, именно поблизости от того места, где была Сухарева баня, с ним произошел эпизод, который даже автору этих строк кажется невероятным. Впрочем, невероятность не делает этот эпизод невозможным, почему у автора и возникло желание не отказать ему в месте среди прочих отрывков.

Перечисляя то, что ему удалось купить и то, что стояло в списке, Иван Васильевич убедился, что «план выполнен не более, как на пять процентов». Его просили купить мануфактуры на белье, на верхние рубашки, на штаны и на юбки, просили туфель, носков и чулок, просили посуды столовой и кухонной, просили... да разве перечислить?.. А он и для себя купил далеко не все, что было необходимо. Подходя к Сретенке, он вспомнил, что это место ему называли, как более удобное, нежели «Мюр». «К Мюру, знаете, все прут. А тут место более уединенное и менее известное». В самом деле. На углу Сретенки и Большой Садовой находился большой универмаг. Сквозь стекла витрин виднелись свертки разнообразнейших тканей, посуда, обувь и прочее, и прочее... Около магазина очереди не было. Хотя час был не утренний, из магазина то и дело выходили какие-то люди со свертками. Это значило, что дневной лимит еще не распродан. «Зря же я терял пот и кровь возле Мюра», — подумал Иван Васильевич, и с замирающим сердцем взялся за ручку двери.

Войдя в зал, он увидел человек десять покупателей и смело направился к прилавку. Но не успел он сделать и пяти шагов, как к нему подошел милиционер. Попова бросило в жар.

— Вам что, гражданин?

— Да вот... я думал, я думал... купить кое-что надо.

— Купить это дело одно, а порядок надо знать, это другое, — резко заметил милиционер.

— Разве это закрытый распределитель?

— Нет. Магазины для всех граждан.

— Так я тоже из всех граждан.

— А очередь?

— Так ведь нету ее, очереди-то. Неужели же...

Попов начал было говорить повышенным тоном. Под впечатлением нескольких дней жизни в Москве он настолько свыкся с родным городом, что забыл, что он не только не имеет права входить в московский магазин, но и по Москве ходить не должен сметь. И вот в тот самый момент, когда он стал говорить с милиционером, пользуясь частичкой «же», сознание вдруг вернулось к нему с полной ясностью. Он опустил глаза, покраснел и свою тираду, начатую раздраженным голосом, закончил смущенно и мягко.

— Виноват. Я не знал. Я тогда...

И видно было, как милиционеру жалко стало и стыдно, что человек перед ним стоит словно пробивившийся школьник. Мягко коснувшись рукава пальто Ивана Васильевича, милиционер объяснил ему организацию дела. Оказалось, что хотя очереди у дверей магазина и не было,

на самом деле она была. Она, как выразился милиционер, «для невидимости», стояла в другом месте, во дворе находящегося по близости бывшего Сретенского монастыря. Оттуда милиционер по мере надобности приводил из очереди по десятку человек. Попов решил немедленно идти пристраиваться к очереди и стал расспрашивать — как эту очередь найти. Но тут в магазине произошло какое-то замешательство. Вышел завмаг и стал деловым тоном давать указания продавцам, он обходил магазин, зорко присматриваясь, чтобы все было в порядке. Попов, по правде сказать, испугался. Он направился поскорее к двери, но выйти не успел, т.к. дорогу ему преградили какие-то три важные фигуры, вышедшие из только что подкатившего лимузина. В этом было его счастье.

— Порядок, граждане! Порядок! — восклицал между тем завмаг. — Торговый процесс продолжается. Вы, гражданин, почему не у прилавка? Товары к вашим услугам.

У Попова глаза вылезли на лоб от удивления. Он охотно подчинился указанию завмага.

Те трое, что приехали автомобилем, резко отличались от прочей массы людей. Их выдавала их одежда. Достаточно было взглянуть на пальто, чтобы безошибочно определить, что это иностранцы. И вот эти иностранцы теперь стояли посреди магазина, внимательно наблюдая, что происходило вокруг. А вокруг ничего особенного не происходило. Шел торговый процесс. Попов не очень смело подошел к прилавку и спросил продавщицу, что он имел бы право купить? Та весело ему подмигнула:

— Пользуйтесь, гражданин. Наш магазин показательный. К нам иностранцев привозят, чтобы им показать, как у нас жизнь идет. Когда есть иностранцы, тогда — продажа без ограничений. Пользуйтесь!

Лица у всех продавцов и у покупателей были необыкновенно веселыми. В них было что-то такое, что бывает у школьников, когда они смеют делать какую-то шалость с позволения учителя.

Попов не преминул воспользоваться подвернувшимся чудесным случаем. Он купил почти все, что было записано у него в записной книжке. Заплатил и, нагрузив себе полные руки, готов был идти вон из магазина, как к нему подошел один из этих самых иностранцев и на ломаном русском языке очень вежливо спросил, — почему Попов так много купил мануфактуры? . . . Из-за плечей иностранцев переводчик-гид делал Попову отчаянные знаки. По движениям его рта можно было понять слово «колхоз».

Бог знает, как устроен человек, что так легко подчиняется приказу. Ведь Попов дождался шанса, которого ждал годами. Как часто он мечтал о том, чтобы поговорить с каким-нибудь иностранцем и рассказать ему всю правду о жизни в стране под властью коммунистов. Сколько горечи хотел он выложить, сколько обиды, как хотел предупредить . . . И вот этот шанс был перед ним. Он мог бы сказать много, очень много. Довольно было бы сказать, что эту мануфактуру он купил только благодаря тому счастью, что вот иностранцы в магазин юпали, а то . . . Но Попов оробел. Советская

выучка не прошла даром. Он понимал, что скажи он иностранцам правду, никому лучше не станет, а ему гарантирована тюрьма. В тюрьму садиться не хотелось. Героизм был ни к чему.

Но мысль о мужественном подвиге раскрытия правды в глаза представителям свободного мира все таки промелькнула в сознании. И все таки он не проявил героизма. И по странной причине. В тот самый момент, когда он, несмотря ни на что, несмотря на безнадежность попытки и сознание, что это для него будет верной гибелью, уже готов был сказать, что у него было на сердце, ему вдруг захотелось позиздеваться над тупоголовостью этих иностранцев. Приятно было посмеяться над тем, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат. Было ведь это не в первый год советской власти, когда еще можно было заблуждаться, а в одну из пятилеток. Стало быть, времени, чтобы уразуметь было более, чем достаточно. Было достаточно времени, чтобы понять, не задавая глупых вопросов «этим странным русским».

Помолчав минутку, как бы не поняв сначала вопроса, Иван Васильевич отвечал на плохом французском языке, что он бухгалтер колхоза, что, хотя у них в колхозе всего довольно, и никто ни в чем не нуждается, заработок каждого колхозника так велик, что люди интересуются столичными гостинцами. Вот он и решил отвезти подарков своим на деревню. Таким образом, пыль была пущена иностранцам в глаза по всем правилам пропагандного искусства по наилучшей советской методе и в полном соответствии с указаниями партии, правительства и лично товарища Сталина.

Иностранцев особенно поразило то, насколько глубоко в толщу народных масс проникла в СССР культура. Ведь простой колхозник (так им был отрекомендован Попов) говорил по-французски! Они быстро залопотали между собою, а гид улыбочиво им поддакивал, крайне довольный тем, что фокус прошел так ловко. Иван Васильевич, между тем, воспользовался первой минутой и выскользнул из магазина поскорее, то есть, раньше, чем из магазина уйдут иностранцы. Он справедливо опасался, что после их ухода товар у него могут отобрать. Спускаясь к Самотечной площади, он еще долго оглядывался, с опаской думая о возможности погони за ним. Но обошлось.

— Сто тысяч выиграл! Сто тысяч! — восклицал Иван Васильевич вечером беседуя с приятелем.

Теперь было чем отблагодарить за гостеприимство!

Но пора и ко двору. Билет на обратную дорогу удалось достать благодаря главконторе, которая имела какую-то броню. На другой день Иван Васильевич еще побродил по Москве, желая посетить все любимые места города. Заглянул еще в кое-какие магазины, доискивая предметы по все еще невыполненному плану. Его особенно заботила кастрюлька, о которой просила Анна Митрофановна.

Жалко было расставаться с Москвой. Но стрелки часов не медлили. Пора и на вокзал.

В Вождеград он вернулся счастливый, ободренный и довольный.

На вопрос директора райконторы, видел ли он Ленина, Иван Васильевич, разумеется, ответил утвердительно.

IX

ПАСХА

Удача Ивана Васильевича Попова открыла перед Басей Митиным совершенно неожиданную перспективу. Васька давно обдумывал вопрос о том, как бы познакомить своих родителей с Верочкой и ее матерью. Вводить Верочку в дом своих родителей просто, как предмет своих молодых мечтаний, ему казалось неловко. Деловой предлог все никак не подворачивался. Благодаря обстановке их жизни, родители их никогда не встречались. Ждать осенней учительской конференции было слишком долго. Ни клубов, ни вечеров, ни спортивных собраний, где родители могли бы встретиться невзначай по хитро задуманному молодежью плану, не бывало. Собрания в клубе инженеров, правда, посещались также отдельными учителями, но это была молодежь, а старшее поколение дороги туда и знать не собиралось. Просто привести Веру домой и представить ее родителям, дескать, вот — моя приятельница, у Васьки не хватало смелости. Попов открыл шанс.

Попову нужно было не только раздать своим заказчикам, но и продать кое-что из купленного

им в Москве. Спекулировать или, как говорят за-границей, продавать на черном рынке, он не хотел. Продавал так, чтобы покрыть свои расходы и убытки, но на несчастье ближнего и на нужде наживаться он не собирался. Лишь было бы чем заплатить за новый костюм портному, который ему будет шить.

Отвечая на любезность Ивана Васильевича, что он ей привез рубашечного материала, Анна Митрофановна обещала подыскать покупателей среди верных людей, которые не донесут в милицию. Встречи покупателей должны были происходить у Митиных. У себя Попов покупателей не принимал, чтобы не привлечь внимания милиции. Вот тут-то Ваську и осенило. Он решил позвать Варвару Петровну и Верочку под видом покупательниц.

Анна Митрофановна отлично понимала дипломатию сына и на приглашение одной знакомой учительницы, которая, наверное, что-нибудь купит, отозвалась охотно. Ей тоже давно хотелось познакомиться с матерью девушки, о которой она думала, как о будущей своей невестке. Но... Варвару Петровну было все-таки опасновато приглашать. Дело-то в райкоме над нею все еще висело. Но... смотрины московского товара это же еще не личные отношения!

И решили, чтобы Варвара Петровна с дочерью были приглашены попозже вечером, затемно, чтобы не знал никто. Так и сделалось. Весенним темным вечером Варвара Петровна с дочерью оказались за столом у Анны Митрофановны в качестве покупательниц. Был и Попов. Анна Митрофановна предложила чаю, а за чаем пошла и беседа. Анне Митрофановне

казалось, что ей удалось создать нужный декорум. От обвинения в дружбе ее покрывал вопрос о покупке-продаже, а от обвинения в спекулятивной сделке покрывал чай. Она не думала, что концы ее комбинации не вполне сходились, не подумала и о том, что если бы дошло, как говорится, до дела, то не помогла бы ни торговая сделка, ни чай. За столом они скоро почувствовали много общего между собою, и декорум был немедленно забыт.

Варвара Петровна отобрала кусочек на блузку Верочке, обеим по паре чулок; кроме того, обещала предложить в школе еще одной учительнице и взялась быть посредницей. Покупка была завернута, а чай допит не был. Засиделись. Попов в ...надцатый раз рассказывал о том, как он «выиграл сто тысяч», нарвавшись на иностранцев, подробно рассказывал о своих московских впечатлениях. Он вообще необыкновенно интересно умел говорить о Москве. Вася с Верой сидели рядом и, затаив дыхание, слушали повесть о древних днях русской столицы. От того, что они сидели рядом в обществе взрослых обоим было радостно и отчасти неловко, особенно, когда они замечали, как на них смотрят. Вдруг, как бы невзначай, Анна Митрофановна спросила:

— А что, Иван Васильевич, про кастрюльку, что я вас просила, вы, верно, забыли?

Попов вспыхнул, покраснев до корней волос.

— Нет. Я, пожалуй, не забыл. Привез. Принес сейчас с собою, да только... примете ли вы?

Он вынул сверток из под стола.

— Видите ли, — продолжал он. — Кастрюльки в том смысле, как вы ее понимаете, я в Москве не нашел нигде. С материей вот повезло, а с кастрюлей — полный крах. Нет, душаю себе! Достану во что бы то ни стало!

— Ну?

— И достал! По началу отчаялся было, а потом зашел, уже перед самым отъездом, в железнодорожный распред. Думаю: не найду ли там? Кастрюль, понятное дело, нет, а вот это увидел и подумал: «А что если?...» Гляжу на этот предмет и спрашиваю. дескать, можно ли купить? Представьте себе, сказалось можно. Для всех граждан. Я понимаю, что эта штука для всех граждан бывает нужна, но что ею можно пользоваться в качестве кастрюли, мне пришло в голову только в тот момент.

— Да что же это такое? — с любопытством спросили сразу все.

— Я, видите ли, предусмотрительно оставил все фабричные наклейки и ярлычки, — невозмутимо продолжал Попов, — чтобы вы могли убедиться, что предметом этим никто из всех граждан не пользовался, и что поэтому только он и может годиться вместо кастрюльки...

Верочка вдруг вспыхнула пунцовым цветом.

— Ах, я знаю! — вскрикнула она так громко, что Варвара Петровна на нее цыкнула.

— Вера! Как ты себя ведешь!

— Штука, действительно, отчаянная, — продолжал Попов. — Если бы вы, Анна Митрофановна, не пожелали взять, то моя квартирная хозяйка очень просила для себя. У нее тоже

кастрюли нет. Соображайте, смотрите, а меня, а меня извините

С этими словами он развернул газету. На столе оказался новый эмалированный ночной горшок, или, как сказал бы поэт, ночная ваза.

Тому, кто хотел бы видеть озадаченное лицо, следовало бы в этот момент побывать в комнате Митиных и посмотреть на лицо Анны Митрофановны. Она долго соображала, но все-таки решила, что ночной горшок брать надо. Без кастрюли было нельзя. Вася протестовал. Он настаивал, что такую посуду никак нельзя будет утвердить в единой стройной системе, ибо с нею выгонят даже из транспортной столовки. Однако, решили на том, что в горшке будут варить дома, а в единой стройной системе останется старая кастрюлька, заплатанная хлебным мякишем.

Попов, вздохнув, произнес:

— Вот так и живем...

После паузы, разговор возобновился и перешел на другие темы. Варвару Петровну расспрашивали о том, как складывается обстановка в школе. Из ее рассказа выходило, что там вокруг нее создалось такое неприятное настроение, что, повидимому, держат ее только до экзаменов. Зная это, она предпочла бы сама уйти, пока еще можно, прежде чем ее не выгнали. Варвара Петровна чувствовала, что что-то произошло и даже не совсем плохое. Директор школы Волков снова стал называть ее по имени-отчеству. Это было благоприятным признаком, и тем не менее интересовался — много ли ей еще до пенсии, и спрашивал, не кажется ли ей трудным справляться с детьми? Пионерво-

жатая вела себя по отношению к ней вызывающе дерзко и в присутствии Варвары Петровны, в разговоре с кем-то бросила: «Когда я, говорит, стану старухой, лучше сама уйду, чем буду ждать пока меня попросят». Это был явный намек. По всему этому, несмотря на то, что директор школы снова стал относиться по-человечески, Варвара Петровна и решила твердо — при первой возможности из школы уйти. Она соглашалась бы даже и на меньшую ставку, даже на нешкольную работу. Думала о конторском месте.

Сказать все это не было лучшего момента. Погов в Москве выхлопотал вакансию на одно штатное место счетовода, и тут же было решено, что место это будет для Варвары Петровны. Так вскоре и сделали. Удалось. Директор Заготзасола был больше коммерсантом, чем партийцем, на многое смотрел сквозь пальцы, и анкета в их заведении была очень простой и короткой. Волков (директор школы) уходу Варвары Петровны не препятствовал и на прощание даже пожал ей руку. В трудовом списке поместили, что уходит по собственному желанию. Есть, все-таки люди, а не звери. Такой вот и Волков был.

Когда обе дамы стали работать в одной конторе, между ними установилась настоящая дружба, а в обстановке их дружбы отношения между Васей и Верой развивались, да шли так, как и было им положено от Господа Бога от начала века.

Приближалась Пасха. Узнать об этом можно было по двум признакам: во-первых, кое-где в газетах мелькали статьи на антирелигиозные

темы, да, во-вторых, в разговорах обывателей (преимущественно на базаре) проскальзывал слух, что «в этом году Пасха будет такого-то числа». В календарях сведений о Пасхе, разумеется, не бывало. Откуда возникало известие о Пасхе и о дне праздника, сказать трудно, но ошибок никогда не бывало. Пасха действительно подходила.

На рынке невыносимо повышался спрос на яйца, на чистую белую муку и на сахар, который спекулянты перепродавали из-под полы. Все покупательницы в разговоре старались заметить, что покупают эти роскошные продукты по случаю дня рождения сына, мужа или брата, и если торговки спрашивали, не для Пасхи ли покупка, то отнекивались и отмахивались, пожимая плечами, равнодушно говоря:

— Ах, в самом деле Пасха? А мы и забыли совсем...

И тут же, подчас у той же самой торговки, из-под полы, покупали краску для яиц. Краски были скверные, дорогие, но шли.

Внешне продолжалась будничная жизнь, но где-то глубоко в толще народа чувствовалось приближение праздника. Церкви в Вождьграде все к тому времени уже были разрушены. К праздникам, поговаривали, что где-то на слободке живет священник, который будто бы даже служит.

Жовтынский в эти дни был чрезвычайно озабочен, чтобы повсюду организовать антирелигиозные доклады, но мобилизовать докладчиков было трудно. Партийные докладчики все измотались, студенты техникумов от докладов отказывались по причине, или под предлогом,

близости экзаменов. Секретарь райкома комсомола обвинял Жовтынского в пассивности и попустительстве классовому врагу. Жовтынский ругал его за халатность и разгильдяйство. Лекции и доклады, впрочем, все же происходили, аудитории были полны, так как явка была обязательной, но слушатели были более чем равнодушны. Антирелигиозная пропаганда всем надоела, Пасху же праздновать большинство хотело и, может быть, не столько из религиозных побуждений, сколько из-за традиции, неизгладимо живущей в толще народа, в его плоти и крови. И праздновали.

Отрывая время от своего недосуга, чтобы разыскать нужное, и рубди от скромного бюджета, Анна Митрофановна добыла шесть штук яиц. Три пошло в печенья (два в кулич и одно в сырную пасху), а три были покрашены шкуркой от лука. Спекла кулич. Она как-то научилась печь на примусе. Впрочем, и куличик-то был маленький. Сделала пасочку. (Нашлась даже старая формочка с вырезанными буквами Х. и В.) Андрей Васильевич помогал. Вася относился к приближению праздника без каких-либо чувств.

Религиозное воспитание прошло мимо него. Родители не внушали ему веры, опасаясь, что дитя своим проявлением выдаст секрет в общественном месте. Уже в юношеском возрасте Вася, разумеется, давал себе отчет, что его родители в Бога веруют, но относился к этому совершенно безразлично. понимая, впрочем, что это — опасная семейная тайна. О себе он никогда не задумывался — сам-то он верует, или нет?

Пасхальные приготовления делались во многих домах, но всею по секрету ото всех. Квартиры люди чистили, оправдываясь тем, что приближался праздник 1-го мая. Единственно, чего не касались пасхальные приготовления, это одежды. Во-первых, она у всех была более чем скромной, и чисти ее или не чисти, подштопывай ее или отглаживай, она нова и лучше не становилась. Но важнее было то, что в чистых подпорченных костюмах или платьях на Пасху в учреждение или учебное заведение, тем более, выйти было нельзя. Это могло повести к увольнению со службы или к большим неприятностям в школе или техникуме.

Но вот подошла и Великая Суббота. На слободке, действительно, в своей комнатке, в присутствии двух-трех старушек монахинь, священник, работавший сторожем на фабрике содовых вод, в свободное от сторожевой службы часы, совершал весь чин Страстной Седмицы.

А Митины?

Закрыв ставни, Анна Митрофановна покрыла стол белой скатертью и поставила на стол свои приготовления. Сделала она это попозже вечером, чтобы никто не застал, случайно вошедши в комнату. Вася не мог остаться. Ему было обязательно нужно присутствовать на антирелигиозном докладе. Огорчать родителей ему было неприятно, но надо было подчиняться комсомольской дисциплине. Нехотя он ушел. Родители, вздохнув, поцеловали своего мальчика и отпустили его. Было часов одиннадцать вечера.

Почти то же самое происходило в комнате у Спиридоновых. Верочке надо было идти. Ко-

гда она ушла, напутствуемая матерью («Пусть тебя Бог хранит, деточка, ото всякого соблазна»), Варвара Петровна затеплила лампадку у икон, достала из сундучка портрет мужа, снятого в полном священническом облачении, и долго на него смотрела. Когда на каланче пробило двенадцать, глядя на карточку она сказала:

— Христос Воскресе, родной мой...

И две горячие слезы скатились по ее щекам.

Перед нею было два крашенных яйца. Она не стала их трогать, подумав: «Утром вместе с Верочкой»... Потом помолилась перед иконами и легла спать.

*

Митины сидели за столом, ожидая двенадцати часов. Когда стрелки приблизились к этому часу, Андрей Васильевич встал и, проверив дверь — закрыта ли на крючок, отворил шкаф. Там на верхней полочке у него стояли иконы. Став перед ними, он с женой тихонько тихонько пропели «Христос Воскресе из мертвых...» Потом сели к столу. К пасхальному столу.

Так старое поколение праздновало Светлый Праздник Христова Воскресения.

А молодое?

Все студенты были собраны в зале. Это был большой зрительный зал. Ветеринары, техникум которых помещался на втором этаже, объединились с педагогами, занимавшими первый этаж. Зрительный зал учебного комбината был общим для обоих техникумов. Зал был полон, как бывал полон и в Октябре в момент торжест-

венного заседания. Вася встретил Веру на пути в учкомбинат, и в зале они сидели рядом.

Докладчиком был тов. Коган. Он говорил долго, не очень умело, но чрезвычайно убежденно. Начав с антирелигиозной постановки вопроса, и коснувшись того, что можно было прочесть в любом антирелигиозном журнале, Коган незаметно соскользнул в область международных отношений. Он уверенно говорил о том, что капиталистические державы хотят уничтожить Советский Союз и восстановить власть помещиков и капиталистов, лишив трудящихся прав, которых они добились под солнцем сталинской конституции. Досталось Римскому папе и всему духовенству мира. Оказалось, что оно только тем и озабочено, как бы основательнее эксплуатировать трудящихся всего мира. Заклучая, тов. Коган стал критиковать остатки предрассудков в среде молодежи. Оказалось, что таких предрассудков было еще много, особенно среди деревенской молодежи, а так как ветеринары и педагоги предназначались для работы в деревне, то Коган и потребовал от студентов, чтобы они прежде всего в деревне занимались антирелигиозной пропагандой, памятуя, что не только попы, но и все верующие являются врагами трудящихся всего мира, советской власти, партии, правительства и лично товарища Сталина.

Когда Коган назвал Сталина, студенты зааплодировали. Взрыв аплодисментов, однако, вдруг смолк. Оказалось, что не надо было. Дружные хлопки осеклись и прекратились. По залу пробежало чувство смущения.

После доклада устроили танцы. Играл приглашенный гармонист по очереди с граммофоном. Вечер, хотя и прошел довольно бесцветно, все же состоялся и был записан в отчете о деятельности комсомольской ячейки обоях техникумов.

Нынешний вечер очень отличался от тех, которые бывали в первые годы советской власти. Тогда в этих антирелигиозных вечерах был настоящий азарт, была борьба против Бога, было дерзание безумной отваги, кощунственной смелости, и это наполняло те Вечера каким-то живым духом. Злобным, мерзким, но живым. Теперь, в годы этой пятилетки, было не то. Церкви все были скрыты. О колокольном звоне народ уже почти начинал забывать. Духовенства нигде не было видно. Церковь ушла из быта. Цели для личной дерзости не было видно, и антирелигиозные собрания превратились в пустую формалистику, потеряли свой боевой дух. Это чувствовали и устроители, и аудитория.

Молодежь, которая сошлась на это собрание, танцевала, кое-кто даже с мастерством, но никто из этих юношей и девушек не думал о том, что танцами этими кто-то может быть оскорблен. Поэтому и в танцах не было того задора, который добивались вызвать комсомольцы устроители. Собрания устраивались по требованию партии. Устраивать такие вечера партийным верховодам было нужно, ибо они знали, что их враг — Бог — попрежнему жив в сердцах этих юношей и девушек. Молодежь не знала Его. О Нем ей было известно только то, что «Его нет», но Он оставался жив в движениях

души, в стремлении к познанию, к творчеству, в склонности к красоте и к правде, которым, однако, никто не мог дать хода. Всем этим юношам и девушкам было некогда. Все они недоедали, все они постоянно торопились, головы каждого из них были заняты каждодневными мелкими, назойливыми заботами, все они кого-то любили и каждого из них кто-то любил. Если бы кто-то спросил их, веруют ли они, едва ли кто из них ответил бы утвердительно, а те немногие, кто так бы сделал, основывали бы свой ответ более на воспитанном в семье воззрении, нежели на собственном чувстве. Но уделом их было неверие по неведению, а неведение это было им насильственно навязано. Христианство им было совершенно незнакомо. В то же время диамат вколачивался им в головы со всех сторон, притупляя их мыслительные способности и превращая их в счетные машины высшего образца. Их учили оперировать только с известными факторами, упорно выколачивая из них представление о существовании факторов им неизвестных. И при всем этом, эти юноши и девушки не были антирелигиозны. Эту антирелигиозность надо было им внушить, для чего их и привлекали к участию в таких вечерах. Правящей партии нужно было неверие по неведению в сознании людей превратить в неприятие сознательное, чтобы этим сознанием определить их бытие, чтобы навсегда закрыть для народа пути к самостоятельному мышлению. Правящей партии это удавалось, но далеко не в достаточной мере. Удавалось лишь постольку, поскольку люди были зажаты в тиски беспросветных будней, где самый быт, все эти

ежедневные решения проблем хлебной, обувной, топливной, чулочной, бельевой, квартирной, денежной и т. д., и т. д. прижимали сознание людей к земле, и где надо всем тягостел страх, непреодолимый страх перед тюрьмой, муками и смертью. Но если бы люди получили свободу...

Вера и Вася мало чем отличались от прочих студентов. И в зале во время доклада они вели себя так же, как вели себя все. Во время доклада они позевывали и перешептывались, обращая внимание на то, как тот или другой товарищ из президиума клевал носом, и пропускали мимо ушей много раз слышанные и много раз надоевшие фразы. Иногда в сознании проносилось: «Раз Бога нет, то чего же ради об этом столько толковать-то?.. А раз толкуют, то, видимо, дело не так-то просто, как говорит Коган». Однако показать виду было нельзя. Выступить с подобным вопросом в прениях значило бы обречь себя на исключение, если не хуже. Надо было подчиниться обстановке.

Когда кончился доклад, пошли нудные прения... «Ну, товарищи, давайте! Давайте! Кто хочет высказаться?.. Довольно, товарищи в молчанку играть! Ты, Петров, что-то кажется хотел сказать...» Потянутый за язык Петров поднимался и повторял кое-что из сказанного в докладе... Но прения кончились, прошла короткая программа концерта самодеятельности, и начались танцы. Вася с Верой проплись несколько раз по залу в туре уже тогда вошедшего в моду танго, а потом пошли прогуливаться по полутемным коридорам учебного комбината.

Сводчатые потолки, толстые стены, неприрокие окна, завершенные по старинному образцу стрельчатыми арками, и застекленные сверху цветными кружками, треугольничками и иными причудливыми формами, были так непохожи на жизнь, которою он жили. В сумятице своих постоянных забот, тревог, огорчений, маленьких радостей победы над ними, студенты не замечали особенностей того дома, в котором проводили столько часов своей жизни. Но сейчас, прогуливаясь по этому полутемному коридору, шагая мерно по большим каменным плитам пола под звуки старинного вальса, доносившегося из большого зала, и Вася и Вера почувствовали очарование старины, их вдруг окружившей и вырвавшей их из обстановки советского училища.

— А что здесь было раньше? — спросила, вдруг остановившись, Вера. Именно в д р у г . Ее самое поразило то, что она до сих пор ни разу не задумалась над тем, что в здании Педтехникума, где она сейчас училась, когда-то, т. е. до революции, было что-то другое, что здесь шла жизнь, совершенно непохожая на ту, которою жили они и все их окружавшие.

— Не знаешь разве? — отозвался Вася. — Здесь была духовная семинария. Учились люди, чтобы быть священниками .

— Вон оно что-о-о-о-о... — протянула Вера.

Они снова замолчали. Вера села на подоконник. Вася стоял подле нее касаясь ее колен. В этот момент из зала рванули звуки ухающего, квакающего фокстрота.

— А там что было? — Вера кивнула в сторону зала.

— Там была церковь. Мне папа говорил. Они помолчали.

— Пойдем отсюда. Нехорошо.

— Постой-ка. Я еще не зарегистрировался.

Они прошли в зал, где Вася, разыскав комсорга, просил его сделать пометку о своем присутствии на вечере.

— Ты что же это? Самый разгар танцев, а ты идти?

— Пора, — ответил Вася. — Гляди-ка, уж скоро ночи конец.

В самом деле. Когда Вася и Вера вышли из здания учкомбината, восточный край неба уже сильно посветлел. На западе из-за горизонта еще торчал кусочек ущербленной луны. По западному краю неба еще сверкали яркие звезды, но, чем ближе к востоку, тем бледнее и бледнее они становились, предвещая приближение утра. Было прохладно, но безветрено, и воздух был мягким и ласковым. Мерно раскачиваясь, они пошли неторопливой походкой. Словно предавшись думам, они оба молчали.

— Странно как... — прервала молчанье Вера. — Я, вот, Пасхи по настоящему не знаю, а мне не по себе как-то сейчас. Особенно после того, что ты говоришь там, где мы танцевали, была церковь. Люди Богу молились, а мы танцуем... Вася! Ты Пасху знаешь?

Он не сразу ответил. Потом буркнул:

— Старики мои празднуют... — и тут же спохватившись добавил. — Ты только не ляпни где не надо, а то покатится мой папаня со

службы и я в том числе из техникума. Да, старики празднуют, а я?.. Что же я стану говорить про то, чего не знаю. Пасха и Пасха. Праздник такой. Люди целовались на Пасху.

Вера молча слушала.

— Тебе спать хочется? А, Вера?.. Мне нет. Пошли побродим? Хороша ночь сегодня. Завтра воскресенье. Можно отоспаться.

— Ради праздника?

Вася не ответил. Уверенно взяв Веру под руку, он повлек ее, куда шел сам. Они пошли в парк. Шли молча, лишь изредка перебрасываясь короткими незначительными фразами. Оба были погружены в созерцание неуловимых движений, овладевших их душами. Это не были отчетливо сформулированные мысли, но лишь эмоции с неясными контурами.

Роскошь кончающейся весенней ночи и ее покой, постоянно нарастающая взаимная близость, впечатление, охватившее их в полутемном коридоре старинного здания семинарии, сознание, что их родители празднуют некий незнакомый, но между тем родной и близкий для них большой праздник, подозрение, что этот праздник гораздо значительнее, чем традиции с ним связанные, горечь, что они, хотя и невольно, принимали своими танцами участие в поругании чего-то великого, — все это, сплетаясь в большой клубок неразгаданных нитей, волновало их, наполняя их души радостью познания новой, еще не прочитанной страницы из великой книги жизни.

Парк в Вождеграде представлял собою нечто совершенно чудесное. Раньше когда-то это был сад при загородной архиерейской даче. По-

том город разросся и охватил собою пригороды. Заброшенную архиерейскую дачу еще в годы гражданской войны местные жители, слобожане, разнесли по кускам на топливо. Дров тогда не было, а дом никому не был нужен. Позднее остатки дома сравняли с землей. Сад был полон больших кустов и старых деревьев, которые местами создавали непроходимую гущу. А сирени в нем было! Боже мой, сколько!.. Вход в парк теперь уже, разумеется, изукрасили фанерными арками, на которых висели портреты всех вождей сразу. Главную аллею назвали аллеей стахановцев и вдоль нее поставили гипсовые бюсты стахановцев не только всесоюзного масштаба, но и местных вождegradских. В конце аллеи, то-есть в самом центре парка, посреди клумбы поставили большого гипсового Сталина, воздвигли раковину для оркестра и устроили танцплощадку. Летом здесь собиралось много народу, гремел местный духовой оркестр самодеятельных музыкантов.

Но сейчас здесь была полная тишина. Если же пройти вглубь, дальше от лицевой части парка, то вы погружались в ту самую чудную «холодную глушь деревенского сада», которую воспел Бальмонт, и которая дышала безмолвной нежностью, и грустью, и радостью. Дальше сад превращался в настоящий лес. Этот лес неожиданно кончался над высоким обрывом, и если вы здесь становились спиной к саду, перед вашим взором открывался расстилавшийся у ваших ног безбрежный пейзаж, хватавший на восток километров на тридцать, а то и более.

У подножия обрыва протекала река. По ее противоположному берегу, еще залитому по-

ловодьем, дальше расстилалась российская ширь. Там и сям были разбросаны деревни и села, мелькали перелески, вились змейки узких проселков, да расстилались просторные поля пахотных земель. Красота! Нельзя было не вздохнуть полной грудью и не улыбнуться, выйдя сюда и став лицом к простору полей.

Молодые люди долго бродили по темным аллеям парка. Час прошел или два?.. Какое им было до этого дело?.. Потом они вышли к обрыву.

С реки тянуло прохладой. Вера покрепче стянула на себе платок и, плотнее перетянув на себе полы пальтишка, села на скамью. Вася сел подле нее.

— Хорошо! — произнесла Вера и вздохнула полной грудью.

Восток, между тем, уже окрасился красками, предвещавшими близость восхода солнца.

— А что, если все это так? — нарушил молчание Вася.

— Что «так»?

— Что, вот, я думаю, — продолжал Василий мечтательно, — если правда, есть Бог, есть Его сила. Его Пасха. Правду тебе сказать, я только из антирелигиозной литературы знаю, что Пасха это праздник Воскресшего Бога... И думается иногда... не всегда, нет... Вот только когда на душе так спокойно и хорошо, ... думается, а что если вдруг не религия нас обманывает, а наши парт-учителя нас обманывают?.. Ведь до тайны жизни так никто и не догляделся. Никакой микроскоп не помогает. Откуда жизнь?.. А еще неразрешимее тайна смерти. Откуда пришла жизнь? Куда ухо-

дит?.. Я, знаешь, когда-то в книжке на картинке видел руку Паганини. Такой скрипач был...

Вера кивнула головой. Дескать, знаю.

— ...и подумалось: Откуда взялось то, что в ней было? Куда оно ушло? Что это было? Вот мертвые мускулы, кости. Сказать правду, мускулы особенные, но ведь их такими что-то сделало. Ведь когда он только что умер, в тот самый момент мускулы остались, а из руки что-то ушло. Куда ушло? Что это было?

— Дар. Моя мама говорит: «Дар Божий». Она очень крепко верит...

— Мы, знаешь, анатомию очень изучаем. Распотропишь собаку. Ну — собака и собака. Нервы. Рефлексы. Всякая там всячина. А когда мне пришлось раз видеть как анатомировали человека, так мне эта самая Паганиньевская рука в мысль как вскочит! Рефлексы те же, а на поверку?

— Должно быть, человек, все-таки не совсем скот.

— По Дарвину выходит...

— Моя мама говорит: «По теории Дарвина мог получиться человек, как высокоразвитое животное с даром речи, но человек-то все равно получиться бы никак не мог».

— Как так?

— Потому что, мама говорит, — тварь никогда не могла бы возобладать над природой, своим, то есть, творцом. А что человек, произведение природы, над нею самой возобладал, это, — мама говорит, — и есть признак, что человека коснулась Рука Божия.

— Интересно.

— Она это из каких-то старцев, или святых отцов пустынноиков непорочных... И, знаешь Вася, мне самой иногда хочется посмотреть вокруг без микроскопа, без всех тех очков, что на нас надело наше знание. Хочется, чтобы был Бог, чтобы стать перед Ним на колени и низко, низко Ему поклониться.

— Да и знание наше такое маленькое, маленькое...

— И я, Вася, часто думаю, что Он есть, только людям очень, очень некогда.

— Некогда... Д-д-да-а-а — протянул Василий.

После этого они долго молчали. А потом Вера выпалила:

— Да, ведь, мы Ему в лицо смотрим!

Вася взглянул на нее удивленно.

— Смотрим. Да. — Уверенно повторила Вера.

Снова пауза. Вася, широко открыв глаза смотрел на Веру.

— А ты, что... верующая разве?

Та на него бросила какой-то, новый для нее самой, взгляд.

— Вот сейчас поверила. Гляжу и вижу.

В ее голосе звучало что-то дерзкое и вызывающее.

— Поверила. Да. Не может быть, чтобы Бога не было.

— Ух какая ты, однако, экспансивная. Разве можно так поддаваться моменту?

— А момент этот не зря же нам дан. Не напрасно же мы с тобою вот здесь оказались, чтобы на минутку задуматься. Задуматься и об-

радоваться. Ведь, что Бог есть, это большая, большая радость. Зачем же я буду проходить мимо хорошего, если оно само ко мне пришло?

— Женская психология, — откликнулся Вася.

— Молчи. Мне сейчас так хорошо.

Она села поближе к нему. Казалось бы, ему надо обнять ее, прижать к себе ее, девушку, ищущую нежной ласки и крепкой руки. Но он неподвижно сидел, попрежнему держа ее руку в своей, и задумчиво глядя на край, где небо сходилось с землей, и где все ярче и ярче разливались краски восхода.

— Молчи. — Еще раз сказала она.

Лучшее время любви

Вовсе не в первом лобзании.

В полусловах и молчании

Высшую радость лови...

Если бы не восход солнца, не знать бы им, сколько времени они просидели в такой уютной, ласковой позе. Но ночь уже решительно кончалась. Близился день. Солнце всходило. Высоко в небе облака окрасились причудливыми тонами. Пол неба на востоке полыхало яркими красками. Каких только расцветок здесь не было! И красный, и зеленый, и синий, и желтый... Напиши какой-нибудь художник эту картину, не поверили бы люди, что такое может быть.

Где-то кто-то писал, что если бы солнце всходило раз в сто лет, все люди в этот день бросали бы свои постели и выходили бы созерцать величие и красоту рождающегося дня. Но

солнце восходит каждый день, и люди спали. А наши два очарованных странника сидели на краю обрыва и смотрели на разраставшееся перед ними великолепие. Они не любовались картиной восхода. Нет. Они были поглощены ею, они потеряли ощущение времени и широко открытыми глазами безотрывно следили за чередованием красок.

Солнце взошло. Оно неожиданно быстро стало подниматься по небосклону, и вот уже нижний край его отделился от горизонта.

— Смотри, смотри! — громко воскликнула Вера.

— Что это? Что такое?..

Солнце, только что взойшедшее из-за горизонта, вдруг юркнуло назад за край земли и скрылось.

— Что это было? — недоуменно спрашивал Вася. Но, пока они пытались сообразить, спят они наяву, или въяве сны видят, солнце вновь взошло. Взлетев в небо, оно раздвоилось, и в небе оказалось два солнца. Оба ослепительно яркие, оба настоящие. Потом в небе стало пять солнц.

— Смотри же! Смотри! Солнце играет! Пасха! Христос Воскресе! — радостно воскликнула Вера.

А Вася? Он рот открыл от изумления. Его душа наполнилась тем восторгом, который испытывают иной раз музыкальные люди, слыша любимую сонату. И сердце полно, и слов нет говорить, и слезы непрошенные неудержимо выступают на глаза.

— Воистину Воскресе Христос... — задумчиво прошептал Вася.

Действительно, солнце играло. Явление, которому оказались свидетелями наши молодые люди, часто наблюдается в тех местах. Научно оно как-то объясняется преломлением солнечных лучей сквозь весенние пары, поднимающиеся от земли. Любопытствующий человек, быть может, установит и точно материальную суть этого явления, ибо оно несомненно. Даже антирелигиозная пропаганда не отрицает того, что солнце играет. Как солнце играет, наблюдали многие сотни тысяч русских людей, и русский народ твердо знает, что на Пасху Христову и солнышко радуется и Славу Божию возвещает. И как бы научно ни было объяснение этого явления, ни разу никому не пришлось слышать, чтобы кто-то видел, как солнце играет в какой другой день, кроме того, когда Православная Церковь празднует Светлый Праздник Христова Воскресения.

Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь.

Пять солнц потом слились в одно, и оно заплясало в небе. Потом оно снова разбилось на несколько кусков, потом, вернувшись к своему обычному виду, оно скрылось за облаками начавшегося мягкого пасмурного дня.

Утренние улицы были пустынно, когда, держась об руку, наши молодые люди возвращались домой. После того, что они вместе пережили этой ночью, все преграды между ними исчезли. Им не надо было говорить друг другу о своей любви, им не надо было объясняться, не надо было спрашивать друг друга ни о чем. Им было бесконечно хорошо. В каком-то полумолчании, с длинными паузами, какими-то обрывоч-

ными репликами они вспоминали мельчайшие подробности прошедшей ночи. Как будто не было вчерашнего доклада, как будто не было фокстротта, квакавшего из большого зала, где когда-то была церковь, как будто не предстояли им их повседневные обязанности и мелкие досадные бедствия. Были только два любящие сердца, два существа, беспредельно преданные друг другу, и между ними — радость, которую они вместе сейчас пережили. Эта радость на всю жизнь осталась в их сердцах и освещала и освящала их путь. Наконец, они подошли к дому.

— Христос Воскресе, родной мой. — Произнесла Верочка.

— Воистину Воскресе! — ответил с улыбкой легкого смущения Вася.

Они поцеловались. Этот их первый поцелуй объединил в себе и нежность любовников, и мягкую ласку брата и сестры, и строгое, сдержанное выражение радости христиан, чистым сердцем празднующих Пасху, и печать тайны, незримыми нитями связавшей их в эту ночь.

С минуту Вася стоял перед Верой, держа ее руку в своей и глядя ей в глаза.

— На всю жизнь?

Она опустила глаза. Еще ниже склонилась ее головка. Белокурая прядь, выбившаяся из-под платка, скрыла яркий румянец, покрывший ее лицо...

— Да.

Выхватила свою руку из Васиной и юркнула в калитку. С радостным визгом ей навстречу бросился Полкан.

Придя домой, Вася, как всегда, при помощи ножа, продеваемого в щель двери, откинул

крючок и тихонько вошел в комнату. Было светло. Родители тихо спали. Стол был покрыт скатертью, на нем стоял уже надрезанный кулич, начатая сырная пасха, да три крашенных яйца.

— Как хорошо! — сказал сам себе Вася, глядя на стол. Постояв с минуту в созерцании стола, он прошел за свой шкаф, быстро разделся и, едва добравшись до подушки, уснул крепким, крепким сном.

И ничего ему не снилось.

Проснувшись поздно, вся семья похристосовалась, причем приветствия произносились шопотом. Выпит был чай, съеден был кулич и яйца. Родители вспоминали празднование Пасхи в былые годы. Общее ликование. Гул колокольного перезвона. Необыкновенная легкость на душе у каждого. Радость жизни, переливавшаяся через край души... Василий молча слушал. Потом он рассказал родителям о том, что видел этой ночью. Зрелище, в самом деле, было грандиозным. Но как бы ни взволновался Андрей Васильевич, слушая описание сына, он предупредил его, чтобы о виденном он не рассказывал в техникуме. Даже близким друзьям.

Когда Анна Митрофановна убрала со стола и хотела бросить шелуху от крашенных яиц в сорное ведро, Вася подскочил, как ужаленный.

— Что ты, мама! Так знаешь как засыпаться можно! Что ты, в самом деле? Кто-то в мусоре увидит рядом с моими обрывками и моим почерком. Донесут в техникум, что мы праздновали. Потом хлопот не оберешься. Я уж сам позабочусь.

Он тщательно завернул шелуху в газету и сверток сунул в карман.

Скатерть со стола была убрана. Андрей Васильевич сел за ученические тетради «подчищать хвост», Анна Митрофановна взялась перечищать и настраивать свою «единую стройную систему». Вася пошел за хлебом. Повседневная жизнь снова наложила на них свои кандалы авосек, доставаний, очередей, ширпотребов, нарпитов, бесконечной торопливости и страха.

Завтра начиналась новая неделя.

Х

ВОЛЬНОДУМСТВО

Наступило лето. Оно принесло с собою новые заботы об одежде и обуви, хотя в то же время дало и облегчение, так как отпала забота топить печь. Это было удобством, но с удобством связалась и трудность. Не на чем было подогреть обеды. Керосин доставать было нелегко. Если его хватало на чай, то на обеды уже никак. Поэтому Вася соорудил во дворе из кирпичей мангалку и назвал ее «печенкой». «Чтоб было смешно!» — говорил он. Печенка требовала мало топлива. Достаточно было взять несколько щепок, да еще можно было пользоваться хворостом из ближайшего леса.

Лето принесло еще одну заботу: борьбу с клопами. Зимой они жили в своих щелях в стенах, в шкафах, в кроватях, и если и беспокоили,

то спать и жить все-таки было возможно. Но летом тот, кто хотел жить, должен был принимать меры. Люди жили в тесноте. Дома были старыми, средств для борьбы с клопами не было, если не считать таких, как кипяток и огонь. Поэтому, каждое второе воскресенье Вася и Андрей Васильевич выносили все что можно из мебели во двор, там поливали кипятком из чайника, прожигали огнем, зажигая газету, а громоздкую мебель «обрабатывали» в комнате, где в это время было несколько просторнее. Потом все вновь вносилось в комнату. Как-то раз, после такой операции, Андрей Васильевич с довольным видом воскликнул:

— Что, Бобка! Вот клоповая проблема у нас и разрешена. У нас были клопы, теперь их у нас нет.

— Заразительную фразочку бросил, однако, наш дорогой и любимый, — заметил Вася. Оба смеялись тихим, неслышным, но бесконечно веселым смехом.

Однако, вскоре клоповую операцию надо было повторять, т. к. клопы размножались. Если бы кто знал, какая это унижительная и грязная работа! Если бы кто понял, что этот один штрих быта героев говорил о том, что в их жизни был ужас. Ужас этот был тем ужаснее, что он стал обычным повседневным явлением, обстоятельством, которое было принадлежностью быта для всех. Так жили все. Все жили в тесноте, в недостатке времени, в бедности, в грязи, в страхе.

Конечно, честь изобретения клопов не принадлежит гению вождей русской революции. Обвинять Ленина и Сталина в том, что есть кло-

пы на свете, неустройство. Клопы есть и служат в качестве бича рода людского не только в Советском Союзе. Однако, вмешательство их в жизнь и быт советских граждан, конечно, гораздо более мучительно. Неколи где бы то ни было.

Как бы то ни было, — теснота, когда семье, занимавшие большие квартиры, оказались «уплотненными» в одну комнату, а также недосуг, когда все члены семьи оказались вынужденными работать и посвящать массу времени и сил добыванию куска хлеба в буквальном смысле слова, не были присущи быту обитателей России, как они сделались присущи быту обитателей СССР. Именно это обстоятельство и оправдывает его помещение здесь замечания о клопах.

Клопы и борьба с ними стоят на повестке дня у каждого гражданина Вождеграда. В провинции, где дома одноэтажные, это все еще, как говорится, «туда-сюда», но представить себе быт столичного обывателя! Там в Москве и скученность большая, и дома многоэтажные (мебель во дворе вытаскишь), и времени против вождеградского быта еще меньше. От одних клопов можно с ума сойти. Сказанное не есть преувеличение. Лучший советский поэт Сергей Владимирович Михалков, тот самый, что написал слова для последнего советского гимна, что поется на музыку гимна партии Ленина-Сталина, написал стихи про клопов. Эти стихи были напечатаны в роскошном издании его стихов, с грандиозным успехом читались с эстрады и с восторгом принимались публикой. Уж очень близка тема. Вот эти стишки:

В комнате у дяди Вани
Там, где кресла и шкапы,
Жили в маленьком диване
Злые желтые клопы.

Их морили голодом,
Выводили холодом,
Посыпали порошком,
Поливали кипятком,
Их травили газами,
Керосином мазали . . .

Ничего не помогало.
Все семейство выживало.

Надоело дяде Ване
Между кресел и шкапов
У себя держать в диване
Злых коричневых клопов,

И морить их голодом,
Выводить их холодом,
Посыпать их порошком,
Поливать их кипятком,
И травить их газами,
Керосином мазать их . . .

Он тогда взял . . .
И продал их вместе с диваном!

Видно советским писателям тоже доставалось от клопов. Даже в их особых квартирах, и даже таким вельможным, как Михалков. Московская теснота . . .

Да. Так и жили. «Доставали», потому что слово «покупать» стало забываться; работали. семьи жили, неделями не встречаясь между со-

бою, бились в нищете, в тесноте, в клопах, в ужасе советских будней, омерзительность которых сами переставали замечать. Жизнь брала свое.

Но и тут не покидала их сущность их человеческой природы. И тут, Бог весть как, они не оставались чужды миру мыслей и чувств. Не часто посещали их минуты, подобные тем, что ваши молодые люди пережили на вершине обрыва в Пасхальную ночь, но с тем большим упоением они воспринимали такие минуты. Не много времени оставалось у них, чтобы размышлять, встречаться и обмениваться мыслями, да и много смелости и доверия надо было иметь, чтобы высказывать друг другу заветные мысли, возникавшие в умах и сердцах. И все таки мысли рождались, требовали выхода, люди искали его и, при мало-мальски благоприятном стечении обстоятельств, этот выход находили, . . . нередко себе на горе.

За время, которое отделяет эти летние дни от весенних дней перед Пасхой, в среде наших друзей произошли некоторые изменения.

Варвара Петровна, ушедши из школы и поступивши на работу в плодоовощную контору, близко сдружилась с Анной Митрофановной и часто посещала ее, когда только бывали свободные вечера. Об опасности, с этим связанной, как-то забылось. Андрей Васильевич, готовившийся к весенней экзаменационной сессии, благодаря своему опыту и способностям, справлялся с делом так легко и просто, что у него хватало времени помогать другим учителям. Особенно прибегал к его помощи Жовтынский, и это повело их к дальнейшему сбли-

жению и дружбе. Они встречались почти каждое воскресенье. Отношения между Васей и Верой стали настолько откровенно дружескими, что родителям не было даже и надобности говорить о том, что дело идет к браку. Это уже разумелось само собою.

В нередкие воскресные вечера у Митиных собиралось целое общество. Молодые, правда, вскоре уходили бродить, и за столом оставались дамы. Анна Митрофановна объясняла Варваре Петровне какие-то хитрости бухгалтерской работы, за Васиным столиком в углу сидели Андрей Васильевич и Жовтынский. Когда заканчивались деловые разговоры, и становилось поздно, они все подолгу сидели за столом за чашкой чая, обмениваясь впечатлениями.

Во время одной из таких бесед Жовтынский как-то пустился в рассуждения на марксистские темы и из марксистских же предпосылок вывел такие следствия, что становилось ясно, что из строительства социализма все равно ничего не выйдет. Конец с концом в марксистских построениях для него никак не сходился в том, что, как он формулировал: «Социализм-то построить бы и можно, но все равно это не даст ни свободы, ни равенства, ни братства». У Митиных он позволял себе свободно думать и говорить. Правда, после каждого слова он прибавлял: «Это, конечно, между нами. С нашими ребятами беда. Чуть какое сомнение в голове, они уже и видят в нем вражеский выпад. А я, ведь, только хочу разрешить свои недоумения!» С Митиным же он делился ради того, что, надеясь на его образованность и опыт, хотел проверить логичность своих

мыслей. Митин долгое время отмалчивался. По большей части, в ответ на вопрошание Жовтынского, он уклончиво замечал:

— Я, знаете, Ефим Матвеевич, математик. Марксизма не изучал и не могу иметь своего мнения по этим вопросам. Я уж лучше послушаю, что вы скажете по этому делу. Вам в этой области, как говорится, и книги в руки.

И когда Жовтынский уходил, Андрей Васильевич обращался к жене:

— Чорт его знает?.. Либо лукавит мужик и выводит, либо он просто Аким-простота. Только я себе на уме. Из меня лишнего слова не выдоить.

Жовтынский же и был Аким-простота. И эта его непринужденная простота с каждым разом становилась все более и более явной. Ефим Матвеевич думал, что все идет своим чередом, что «сажают» настоящих врагов народа, а честных людей никто не трогает. Будучи сам предан советской власти, которую он считал своею, он полагал нормальным и «копать на один штык глубже», и «вопрошать», и даже выяснять свои сомнения. От Андрея Васильевича это не ускользнуло, и в беседах он, незаметно для самого себя, становился несколько более откровенным. Природная честность Жовтынского располагала к доверию.

Случилось, что Жовтынский снова, как-то, пустился в рассуждения о свободе, равенстве и братстве, и недоумевал:

— Смотрю я, — говорил он однажды, — п не могу понять, в конце концов! Что же к чему привязывается: лошадь в телеге, или телега в лошади?..

— То есть?

— Да вот наше социалистическое строительство.

— Ну?

— Мы — что?.. Социализм строим для народа, или же народ для того создан, чтобы социализм строить?

На что Андрей Васильевич, оглянувшись на око и убедившись, что поблизости от него никого во дворе не было, решился сделать свое замечание:

— Вы, Ефим Матвеевич, вот много с докладами выступаете. И в деревне, помнится, тоже выступали.

— Как же. Приваловка, это мой приход.

— Как так «приход»?

— Ну, да ко мне это село райкомом приписано. Я там имею обязанность проповедывать. В качестве партийного, так сказать, папа.

Он густо покраснел. Кличку, данную самому себе, он до сих пор не называл в разговоре с кем бы то ни было.

— Так вот скажите, не случилось ли вам поинтересоваться: а что же думают именно те, кто этот самый социализм строит?

— Это мужички?

— Ну да. Мужички. Колхознички.

— Вон вы чего захотели! Когда они со мною разговаривают, так от них за десять километров энтузиазмом соц-строительства несет. И я же чувствую, что они не скажут мне ни за что... А вам... вам не случилось ли с ними говорить по душам?

Митян хитро улыбнулся, опустив глаза.

— Между нами говоря... случалось.

— Ну, и что же?

— Только строго между нами! — Понизив голос, он продолжал: — Вы понимаете, что это не предмет для обсуждения на райкоме с людьми типа товарища Паранина.

— Понятно. А все-таки, что же говорят-то?

— Да рассуждения более, чем примитивны. Была, говорят, Россия, был Царь. Жили себе и жили, а все само строилось. Худо ли, хорошо ли жили, а все было и стояло на своих местах. А теперь, говорят, России не стало, Царя тоже нет. Строим, строим, а хорошего ничего нету и не видно. Ничего нету, и все кверху ногами.

— Так чего же они хотят?

— Ну, уж от следствий вы меня избавьте. Сами делайте выводы. Но помните, что это — «вокс попули», не искушенный ни в какой философии. Просто голос земли. Сугубый примитив, как вы сами понимаете.

Пришлось пояснять, что такое «вокс попули». Жовтынский латыни никогда не знал и не имел о ней представления.

Когда в беседах наших приятелей проникали такие вольнодумные нотки, ими обоними овладевало странное чувство. Что-то неудержимо тянуло их развивать тему глубже и глубже. Хотелось высказаться, хотелось услышать мысли другого и, надо сказать правду, кроме естественного человеческого стремления к познанию вообще, существенным мотивом, толкавшим их на взаимную откровенность, была просто-напросто сладость запретного плода.

Во многом их суждения не шли дальше политических прогнозов местечковых политиков, во многом они были наивны. Ведь Жовтынский был всего-навсего партийным начетчиком, а Митин — просто русским интеллигентом, который стал задумываться лишь после революции и который, будучи лишен объективной информации, размышлял по своему ограниченному масштабу. Быть может, не стоило бы приводить их бесед здесь. Однако, любопытно. Любопытно то, до чего случалось додумываться именно этим простым людям, лишь только они начинали «копать на один штык глубже» в пределах своих ограниченных возможностей.

Да будет нам прощено, что мы позволяем себе привести еще одну страничку из их собеседований, и если бы она не вызвала интереса у читающего, пригласим перелистнуть прямо к началу следующей главы.

А случилось то, что Жовтынский продолжал испытывать интерес к тому, что Андрей Васильевич говорил в своем докладе на конференции учителей. Андрею же Васильевичу хотелось тоже развить эту тему. А так как он имел в виду привнести кое-какие детали в свой доклад на конференции в следующую осеннюю сессию, он, решивши «подковаться» с партийной точки зрения, нашел удобным послушать — как бы отозвался на его суждения Жовтынский?

Они сидели за Васиным столиком. Андрей Васильевич просматривал тексты билетов, которые Жовтынский хотел предложить студентам техникумов на экзамене. На одном из них стояло: «Что вы знаете о отношении бытия и сознания в марксистской трактовке этой философии».

ской проблемы?» Митин механически поправил «о» на «об». Оказалось, Жовтынский не знал относящегося к этому грамматического правила. Правило было для него радостным откровением... Положив перо на чернильницу, Митин откачнулся на стуле и стал скручивать «цыгарку».

— Не боятесь?

— Чего?

— Да как бы кто из студентов не засыпался на этом билете. Смотрите-ка. Ведь мы должны же выполнять процент отличников. Вы, небось, тоже?

— М-м-м... Как сказать?... Да нет! Они хорошо знают формулу: «Бытие определяет сознание».

— Формула формулой. Это так. За ветеринаров можно быть спокойными. А вот в педагогах... Скажите, вы в педагогах уверены?

— А какая разница? Формула для всех одна. И для нас с вами тоже. Это уж, как хотите, а это азбучная истина.

— Да видите ли...

Они закурили. Выпустив клуб дыма, Митин продолжал:

— Там всякие индустриалы, ветеринары и прочий технический люд могут ограничиться этой формулой. С педагогами же дело обстоит иначе. Ведь педагогам мы же говорим сами, что... — это по курсу педагогики, — ... что яша задача есть воспитание пролетарского, социалистического сознания.

— Конечно. И наша с вами задача — воспитание пролетарского сознания.

— Ну, а вдруг кто-нибудь из студентов возьмет да сопоставит.

— Что сопоставит?

— Да, как бы вам сказать... Ведь ежели бытие определяет сознание, так может быть... Для какого же чорта тогда это сознание воспитывать? Надо бы с бытия и педагогический процесс начинать.

— Вы хотите сказать...

— Хочу сказать, что само существование педагогического процесса, воспитательного процесса... Я не говорю о процессе технически-образовательном, воспитательного процесса именно, а без него не мыслится никакое человеческое общество от древнейших времен. Так вот существование этого процесса стоит в своего рода противоречии с именно той формулой, которую вы только что высказали.

— Да. Это формула марксизма. Я не понимаю вас.

— Вот смотрите: мы воспитываем сознание, чтобы оно определило социалистическое бытие. Не так ли? Нам нужны творцы социализма. Нужны?

— Именно. Нужны строители социализма. Творцы социализма.

— Ну вот. А если бытие определяет сознание, то социалистическое бытие само его и определит. Чего же нам-то педагогам еще стараться?..

— Ну, да. Конечно. Но социализм-то и коммунизм сами не построятся. Нужно сознательное творческое воздействие общества на свой же собственный быт. Надо определить волю... Поймите. Что это я говорю?

Жовтынский озадаченно остановился. Митин сидел, опустив глаза. Они помолчали. Потом Митин сказал:

— Это я, если помните, когда готовился к тому докладу, вот тогда у меня это сопоставление и возникло. И было бы очень неловко, если бы кто-либо из студентов тоже до него додумался. А могут. Разумеется, я тогда об этом сопоставлении умолчал. Понял, что что-то острое. А с вами, да и то с глазу на глаз, решился поразмыслить.

— А вы и дальше продумывали?

— Да.

— А ну. Валяйте! Между нами. Получается интересно.

— Только между нами. Я не хочу неприятностей ни себе, ни вам. Вот видите: дело мне кажется, обстоит так. Повторяю — мне кажется. Я охотно выслушаю и приму мнение партии и правительства. Нет ли у товарища Сталина чего-либо по этому вопросу?

— Ну, а вам-то как же кажется-то?

— Чтобы было сознание, нужно бытие.

— Верно. Значит, — бытие определяет...

— Да. Но бытие-то бытию рознь. Камень, ведь, тоже есть. Но бытие камня не определяет никакого его сознания.

— Ну, разумеется. Речь о живом бытии, определяющем сознание.

— Вот тут-то загвоздка и начинается. Живое бытие, жизнь-то — оно разное. Червь живет, но там только комок рефлексов. Только. Сознания нет. Оно возникает лишь на более высоких ступенях бытия. У животных высшего типа сознание высоко развито.

— Оно-то бытием и определяется.

— Верно. Собаке хорошо — она хозяйина любит. Плохо?.. Рано-поздно уйдет от него, либо на охоте загрызет. Бывали такие случаи.

— Так о чем же, собственно, речь? Все в порядке.

— Даже такой сознательный процесс, как дрессировка, и тот осуществляется через посредство бытия: кнутом или пряником.

— Верно. Верно. Значит и все тут. «Бытие определяет сознание!»

— Тренировкой можно достигнуть даже и еще больших результатов. Поскольку такое бытие определяет такое сознание, то пса можно обучить и служить, и на задних лапках ходить.

Жовтынский усмехнулся.

— Но если мы возьмем бытие еще более развитое, — продолжал Митня, — то мы встречаем уже и высоко развитое сознание.

— Обезьяна?

— Ну, зачем же? Обезьяна далеко от собаки не ушла. Я имею в виду человека.

— Ну, что ж. Человек есть высоко-развитая обезьяна.

— Это, извините меня, как кто. Есть среди людей даже и невысоко развитые обезьяны.

— Д-да... Бывают. — Жовтынский снова усмехнулся. — Но в принципе...

— В принципе, между животными, даже самыми высоко развитыми, и человеком проходит резкая разграничительная черта.

— Пользование огнем?..

— Это мелочь. Нет. Принципиально она состоит в том именно, что человек есть единственное в мире живое существо, способное со-

знательно воздействовать на условия своего бытия.

— То-есть?

— То-есть, человеку, и только человеку, свойственна способность не только приспособляться к жизни, но приспособлять ее так, чтобы она служила интересам его бытия.

— И вот именно это бытие и определяет его сознание, заставляя действовать так, или же иначе.

— Но он во всяком случае действует сознательно и сознанием творчески определяет свое бытие.

— Это что же получается, по вашему? Что формула материализма и формула идеализма благополучно уживаются в человеке?.. Но это же...

— То-то и беда, что уживаются, но не благополучно. — Андрей Васильевич сделал ударение на «не», и повторил: — Не благополучно.

— Как так?

— А так, что оба положения, очевидно, находятся в противоречии. Опыт истории показывает, что когда человек подчиняет свое бытие сознанию, он облагораживается, и общественная жизнь становится благообразной, благополучной и мирной. Наоборот, когда человек ослабляет себе, дает своему бытию возобладать над своим сознанием, он постепенно оскотиневает, и это тоже находит свое отражение, прежде всего в повышении преступности, имеющей место явно и скрыто.

— Повышение преступности? Вы говорите об Америке? Вот в «Спутнике пропагандиста»...

— Да нет! — с досадой отмахнулся Митин. — Я имею в виду примеры истории. Возьмите древне языческий мир. Мир Египта, Персии и других в сравнении с народом еврейским. Только в этом народе бытие было подчинено сознанию. Проследите дальше историю этого самого еврейского народа. Как только сознание попадает в подчинение бытию, так все разваливается, идет хуже и хуже и, наконец, все царство разваливается.

— Н-н-ну... Этот отрезок истории я плохо знаю. Ладно. Верю на слово.

— И вот, человеческое общество, со времен глубокой древности приходит к необходимости воспитательного процесса, осуществляемого, заметьте, в школе и в религии. Приходит к процессу сознательного формирования сознания подрастающего поколения, ибо иначе сознание оказывается на наклонной плоскости к тому, чтобы подчиниться бытию. И мы сами воспитываем сознание, определяя бытие... Посмотрите на беспризорников. Вот где бытие определяет сознание!.. Вот и получается, что без воспитания сознания общества, бытие общества обречено на маразм.

Андрей Васильевич помолчал.

— Значит, что же получается? — живо отозвался Жовтынский. — Если сознание определяет бытие, то это хорошо, а если наоборот...

— Тогда плохо. Очень плохо. Да еще важно и то: как определяет. Но это вопрос осо-

бый... Об этом тоже хотелось бы много говорить, да ведь слово серебро...

— А молчание золото, — закончил Жовтынский. — Но должен вам сказать, что с такой постановкой вопроса, с таким соображением я, по крайней мере, встречаюсь впервые. Это замечательное единство противоположностей!.. Но пока что, я не посоветую вам вводить что бы то ни было из ваших соображений в открытое выступление.

— Да. Повидимому, это надо хранить при себе.

— Те философские системы, с которыми мне пришлось иметь дело...

— Я не берусь открывать Америку. Просто делюсь в вами своими мыслями. А что касается философских систем, то беда их именно в том, что они берут эту проблему в статике. Статус кво. А жизнь — динамична. Мы, педагоги, особенно ярко это видим. Вчера подросток, сегодня жених. Возьмите хоть моего Василия. И мы же, педагоги, первые знаем слово «дисциплина», дисциплина мышления, т. е. — определение сознания. Мы первые ведем общество от сущего к должному.

— От сущего к должному? Это как?

— Ведем от того, что есть, к тому, что должно быть.

— То-есть к строительству социализма. К сознательному отношению общества в этом смысле.

Как бы не слышав, Митин продолжал:

— То-есть к тому, чтобы человек, под влиянием внушенной ему дисциплины, подчинил свое бытие своему сознанию и определил свое

бытие. Ибо даже, если в сущем, в животном естестве человека, сознание определяется бытием, то в творческом, духовном, так сказать, его естестве — дело обязательно должно обстоять наоборот, и беда тому человеку, сознание которого определяется его бытием.

Под конец этого диалога Митин необыкновенно оживился. Он даже как бы помолодел. Голос звучал тверже, глаза уверенно смотрели в одну точку, и его вытянутая рука, кистью которой он опирался на край стола, сжалась в твердый, властный кулак.

Лоб Жовтынского покрылся морщинами. Он понимал, что формула Андрея Васильевича была логична, что она переворачивала всю его науку кверху ногами, и что она опасна для жизни. Он старался извлечь из памяти цитаты Маркса или же Сталина, чтобы разъяснить, опровергнуть или же примирить себя со столь неожиданными соображениями, как те, что он сейчас слышал. Но ничего не выходило.

Наконец, растерянно он произнес:

— Я, знаете, Андрей Васильевич, посмотрю в книгах. Наверное, у товарища Сталина что-то по этому вопросу есть. Должно быть. А пока что — никому не скажите того, что вы мне говорили. Я вас понимаю. Возникают вопросы. Вы ищете их решения. Вы правильно делаете, что по доверию обращаетесь ко мне, как к представителю партии. Я вас понимаю, а другие могут вас не понять, а при желании, при злонамеренности, ваши суждения можно даже расценить, как критику Маркса.

— Ну, я Маркса не критикую. Я его, признаюсь, и мало читал.

— А следует. Очень следует! — Уверенно воскликнул Жовтынский и облегченно вздохнул, словно в одном упоминании имени Маркса он почувствовал какую-то точку опоры, словно оп, захлебываясь в воде, концом пальца зацепился за дно и почувствовал силу, способную удержать его, противодействуя потоку, который вдруг подхватил его и стремительно увлекал его в новую, незнакомую, заманчивую, но бесконечно опасную область. И вдруг его осенило:

— Позвольте! Ведь в марксистской трактовке речь идет не об индивидуальном, а о общественном.

— Об общественном, — подчеркнуто поправил его Митин с улыбкой.

— Да, да. Конечно. Об общественном сознании. Это, повидимому, должно менять дело.

Андрей Васильевич хотел, было, сказать, что по его суждению общественное складывается из индивидуального, но тут вспомнил, что говорит с директором районного кабинета партучебы, способность которого имеет границы, как бы широки они ни были. Сделав вид, якобы новый аргумент произвел впечатление, Митин произнес с видом, якобы обрадовался:

— В самом деле! Это блестящее соображение. Вот, вот. Конечно, мне надо бы заняться изучением марксизма поосновательнее.

— Я вам в этом охотно помогу, — уверенно заключил Жовтынский. Пропадая в этот день, он сказал: — Только, если бы и нашлись еще какие мысли, ни за что не записывайте на бумагу. А если уж что записали, немедленно сожгите.

Митин понимающе кивнул головой.

Разговор с Митиным о бытии и сознании произвел сильное впечатление на Ефима Матвеевича. Он понимал, что его приятель не агитирует его, но что он только ищет ответов. Аргумент, из которого вытекало, что наличие воспитательного процесса переносит решенный материализмом вопрос в новую плоскость, его живо заинтересовал. Он пытался искать ответов в своих первоисточниках, но всюду наткнулся на упрямую формулу «бытие определяет сознание». Впервые в его голове начала складываться мысль о наличии коренной ошибки во всех построениях марксизма, и хотя он не давал такому вольнодумному духу овладеть собою, мысль его работала все более и более напряженно.

Глядя на приготовленный билет для экзаменов, он решил, что из студентов никто не додумается до тех опасных сопоставлений, которые пришли в голову старику Митину и, махнув рукой, занумеровал его. Самую мысль о возможной критике основ материализма он от себя стал гнать и, ему казалось, прогнал.

Но все-таки когда ему теперь приходилось участвовать на обсуждении каких-либо вопросов на заседаниях парткома, он ощущал странное, назойливое состояние. Оно долго его беспокоило, так как он сам не мог себе дать отчета о нем. Наконец, его осенило! Глядя на личность начальника секретного отдела РайОНО тов. Паранина, Жовтынский пытался ответить себе на вопрос: что такое Паранин — высоко развитая обезьяна или не высоко развитая?..

XI

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Как-то вскоре после Пасхи Верочка, прогуливаясь с Васей, была задумчива и отправила его домой раньше обычного. Варвара Петровна была уже в постели. Вера вошла к ней в комнатку и села к ней на кровать.

— Мама, мне нужно с тобою поговорить.

— Что с тобою, деточка? — встрепенулась мать. В ее сознании мелькнуло, что дочь будет говорить с нею о предстоящем замужестве, скажет, наконец, что Вася ей сделал предложение. Что-то новое слышалось в тоне дочери.

Да новое в нем и было. Впрочем, она не торопилась с «официальным» объявлением о замужестве, желая, чтобы это обстоятельство прошло без слов и в нужный момент было принято, как само собою разумеющееся. Но говорить с матерью ей, действительно, было крайне необходимо. Сближение с Васей пробудило в ней новые чувства, новые мысли. Вася перестал для нее быть просто приятелем, соучеником. Она стала в нем чувствовать любимого мужчину. Новое в его отношении к ней также давало себя чувствовать все более отчетливо. И Вера стала задумываться о той стороне жизни своей матери, которая до сих пор была ей совершенно чуждой, и в которую она собиралась теперь всту-

пить. Глядя матери прямо в глаза она произнесла:

— Мама, скажи... Это верно, что я у тебя незаконная?

Барвара Петровна вздрогнула. Последовала долгая, долгая пауза. Мать глубоко вздохнула и не ответила ни слова.

— Мама! Скажи! Скажи, кто мой отец. Кто? Ты всегда так уклончива бываешь, когда я тебя о нем спрашиваю... Я не пришла осуждать тебя. Я знаю... разное в жизни может быть. Я уже взрослая. Скажи.

Она умолкла. Мать взяла ее руку в свою.

— Нет, детка, — вымолвила она после долгого молчания. — Ты законная моя дочь.

Из Вериной груди вырвался легкий прерывистый вздох облегчения. Глаза осветились нежной едва уловимой улыбкой.

— Только я всегда оберегала тебя, детка. Не могла сказать раньше. Ведь ты мне все казалась такой маленькой. Это не о том я говорю, что надо в каком-то возрасте, чтобы детки знали, что их аист принес... Совсем другое. Ах,.. совсем, совсем другое. И я не могла сказать тебе раньше, боясь, чтобы ты по-детству не обмолвилась. Из-за этого я бывала всегда уклончива в разговоре о твоём отце. Не говорила тебе, кто твой отец, кто был мой муж. Надо было так, чтобы никто не знал. В те дни, когда ты была ребенком, мне удалось скрыть обстоятельства моего брака и смерти твоего отца. Бывают чудеса на свете! Фамилия у нас с тобой не редкая.. Около того времени, когда мы жили с твоим отцом, в нашем доме жил наш однофамилец. Он уехал раньше, чем... — она проглотила трудное сло-

во, — раньше, чем скончался твой отец. Я сообразила, что это случайное совпадение было нам с тобою на пользу. Смотри, детка. То, что я тебе скажу сейчас, ты никому, никогда не должна говорить. Впрочем, нет. Быть может, придет день, Бог даст, и говорить об этом будет можно. Должен же быть конец этому! Кто-то же нас когда-то освободит!.. Слушай: я подменила записи в домовый книге, подчистила и подправила даты. Потом сделала вид, будто потеряла бумаги, и вот по документам оказалось, что я жена Спиридонова, который меня, будто бы бросил, а твой отец будто бы никогда моим мужем не был. Люди сплетни любят. Люди знали, что этот Спиридонов уехал достаточно задолго до твоего рождения. получалось, будто он меня бросил, обманув меня. Из этих сплетен и получалось, будто ты незаконная. Пусть думают, что хотят, а ты правду знай... Бог весть, как эта сплетня добралась сюда. Ведь, было это все не в нашем забытом Богом Вождеграде, а далеко отсюда.

Она назвала город, где протекала ее юность, и отсюда она приехала.

— Не пойму, — произнесла Вера. — А зачем все это? Разве с именем моего настоящего отца связывалось какое-нибудь преступление?

— Ах, нет! Боже сохрани! Он был честнейшим человеком.

— Так зачем же?

— Затем, что если бы не моя уловка, то мы с тобою, детка, никогда бы до сего дня не дожили.

— Да почему же?

— Потому что, если бы все было известно, то я давно бы лишилась заработков, а для тебя

все пути к самостоятельной жизни были бы закрыты. Да и это еще в том случае, если бы тебе не пришлось бы оказаться беспризорницей.

— То есть . . . почему?

— Да ведь с тем положением, которое я . . . скрыла, в нашей «свободной» стране на свободе долго не останешься.

— Да что же такое?

Вместо ответа Варвара Петровна поднялась с кровати, подошла к маленькому комоду, где лежал ее заветный сундучек и, достав из него фотографию, подала ее Вере.

Вера знала, как выглядят ее глаза. С зеркалом она вела свою девичью дружбу. Теперь, увидев на снимке священника в полном облачении, она по глазам узнала в нем своего отца. Несколько минут она молча смотрела на фотографию. Причина, из-за которой матери пришлось делать подлог, скрывать истину и держать дочь в неведении об ее отце, стала понятной Вере без дальнейших объяснений. Перед ее взором пронесся калейдоскоп представлений. Вот она, подростком, на комсомольском собрании распевает кощунственную песню с лихим припевом :

«Долой, долой монахов,

«Раввинов и попов . . .

Вот она уверенно заполняет анкету для поступления в техникум и в ответ на вопрос о социальном происхождении тщательно выводит «рабочий». Вот она сочувствует несчастью подружки по школьной скамье, не принятой в техникум по социальному происхождению, вот она в разговоре с подругами чувствует, как те намекают ей, что она незаконнорожденная, вот в раз-

говоре о ком-то мелькает презрительное слово «попадья» и «поповна». Вот ей вспомнился старик нищий на перекрестке. Говорят — это священник, и Вера подает ему монетки с чувством жалости и презрения. Ведь это — «поп»... И чувство жгучего стыда охватило ее. Вот ей вспоминается всегда удивлявшая ее осведомленность матери в отношении религиозных вопросов... и внезапно сверкнула картина Пасхальной ночи.

Начиная этот разговор, Вера опасалась, что мать откроет ей тайну ее незаконного рождения, расскажет об обманувшем любовнике, о тяжелом положении обманутой женщины. Этого она ждала. Она знала, что ей горько будет узнать тайну собственного горя, ибо сознание, будто она незаконная, всегда горько отзывалось в ее душе... И к этой горечи она была готова. Но то, что сказала ей мать, сама фотография отца... все это лежало в плане невысказанного, в плане, который мог касаться кого угодно, но непременно лица постороннего. Никак не ее самое. Вере и в голову не приходило, чтобы тайна ее рождения была связана с таким обстоятельством.

Варвара Петровна стала рассказывать дочери про отца. Она говорила о нем, вспоминая с нежностью о своей любви к нему, с глубоким почтением говорила о высоте его служения, с гордостью упоминала о его ревностном исполнении своего долга. Но вот воспоминания привели ее к последним дням, к расставанию, к последнему благословию, когда отец, уводимый из дома в тюрьму, осенил святым крестом младенца, лежавшего в колыбели. Она разрыдалась. Вера сидела низко опустив голову.

— Прими же сейчас это благословение! — горячо воскликнула Варвара Петровна и пере-

крестила дочь, держа в руках фотографию отца.

Они долго сидели молча.

— Ну, что ты скажешь, девочка?

Вера сидела, сжав виски пальцами. Точь в точь материнский жест.

— Пережить это надо, мама.

И когда она пыталась тут же дать себе отчет в своих мыслях и чувствах, ей вдруг ярко представился экран кино и кадр режиссерского трюка, когда видится отражение чего-то, и когда это отражение неожиданно переворачивается и превращается в реальные образы. Мысли гнались одна за другою. Звенел наглый мотивчик песни. Глянул резко какой-то монах из исторического фильма времен Ивана Грозного. Пушкинская строфа об отцах пустынниках и женах непорочных. Вот мать ей говорит про Дарвина.

Она чует глубокую правду слов матери, и обнажается бездарность привлечения дарвинизма в качестве антирелигиозного довода.

Вот снова она на вершине обрыва в Пасхальную ночь. Солнце играет и кричит с утреннего неба: «Христос Воскресе!» У нее на коленях фотография отца. Он в старинных ризах. На груди белый крест. Что это — золото или серебро?.. А его глаза проникают в душу все глубже, все глубже...

— Значит, мама... Бог все-таки есть?

— Конечно, Вера, Он есть.

Хотя Вера и была полна решимости соблюсти наказ матери и никому не говорить о тайне, сообщенной ей матерью, сил на это у нее

хватило только до первого свидания с Васей. Тот не мог проникнуть вглубь Вериных переживаний. Воспринял прежде всего практическую сторону дела. Когда он оказался посвященным в тайну Вериного рождения, он долго крутил головой.

— Смотри же, Верок, чтобы никто, никто не узнал.

И в дальнейшем Вера сумела молчать.

Но мысль цеплялась за мысль. Сердце было взбудоражено и искало ответов, а вопросы один за другим лезли и лезли, и лезли... В следующее воскресенье, когда ему случилось остаться наедине с отцом и говорить с ним, Вася спросил:

— А что, папа, ты никогда не был бывшим царским генералом?

Вася задал свой вопрос, как бы в шутку, но при этом он насторожил ухо, будучи готов к неожиданностям.

— Что за странные вещи ты спрашиваешь?

— Так. -- буркнул Вася. — Уж очень много странных вещей бывает на земле.

— Что поделать, Бобка. В странное время живем.

До сих пор они перебрасывались отрывочными фразами каждый со своего места. Вася сидел за шкафом-перегородкой, а Андрей Васильевич — за обеденным столом. Отвечая, он не отрывался от тетрадки, продолжая делать пометки красным карандашом. Но Вася почувствовал, что отец отвечал ему охотно. Он встал из-за стола и наполовину вышел из-за своей пере-

городки. Остановился, опершись плечем на шкаф.

— А все-таки, папа?.. Ты от меня не скрывай. Я не Павлик Морозов.

— Только этого бы недоставало. Слава Богу. Уверен в тебе.

— Так скажи.

— Это про генерала?.. — Митин усмехнулся. — Нет, нет. Можешь быть спокоен. Человек я, конечно, не рабоче-крестьянский, но генералом, все-таки, не был.

Пауза. Вася стоял, не переменяя позы. Андрей Васильевич вопросительно на него взглянул.

— Еще что-нибудь?

— Да, папа. Я одну штуку у тебя давно спросить хотел. А сейчас подвернулось такое, что лучше, думаю, все-таки спрошу.

— Про генералов?

— Да, отчасти и про генералов... Мы с Верой на днях говорили, и пришло так, что про... извини меня, про поколение отцов, так сказать... н-ну, про ваше поколение... И я вот вспомнил... это уж безотносительно к тому, что мы с Верой говорили. Вспомнил, как мне один человек как-то сказал...

— Что сказал? Чтонибудь умное?

— Говорит: «У Бога, мол, суд с людьми от того, что нет богопознания». Я не помню точно.

— Что за человек? Откуда у тебя такие словеса?

— Помнишь сосед у нас был. Весной уехал. Как-то быстро уехал.

— Это бирюк этот?

— Ну, да. Он. Так горячо говорил. Запомнилось.

— А я-то при чем же?

— Вот, видишь, я так думаю: поколение генералов... ну, словом, ваше поколение, в революцию понесло тяжелую катастрофу. О том, что нашему поколению за недостаток богопознания может достаться, это понятно. Ну, а вот ваше-то?

— Я, брат ты мой, в богословских тонкостях не очень осведомлен. Но должен сказать, что наше-то поколение тем и отличалось. Наше поколение к вопросам богопознания относилось более, чем равнодушно.

— Не интересовались?

— Попросту, без затей, царило наплевательское отношение. Бывало, батюшки к празднику придут, так наш брат студент из квартиры выходил и им же в лицо заявлял, что, дескать, господ дома нет. Вроде как бы лакей выходил.

— Стало быть, с вашим поколением тоже было за что судиться?.. Ну, хорошо. Понимаешь ли, папа. Ведь мы гораздо больше знаем, чем наши преподаватели думают. Про прошлое знаем, очень много. Молчим, а знаем. Они думают, что, мол, молодежь, только новое знает, а на самом деле это не так. И получается, что мы кое-что знаем, а многого не знаем. Вот и приходится спрашивать. Нам историю революции читают, а мы знаем, что там либо не все так, либо все не так. Что бы ты сказал?

Отец долго молчал. Наконец, он поднял голову. Глаза его были закрыты. Видно было, что он напряженно искал ответа...

— А я тебе ответа не дам. Верю, что когда-то правда об этом выйдет наружу, но по совести говоря, чувствую, что знаю слишком мало. Подрастешь, мальчик, вместе будем думать, а пока что учись носить вопросы при себе. Учи-ка лучше свою гистологию, — закончил он с усмешкой.

Да будет прощено автору, что слишком много побочных сюжетов оказалось привлеченными к этой повести. Нет стремительности в развитии сюжета. Ведь можно было бы развернуть картину по-кинематографически. Темпы! Темпы! Вот встретились. Вот полюбили друг друга. Вот встретилось препятствие. Вот пришла развязка... Да разве это важно? Любили люди и женились и в те дни, когда Ной в ковчег вошел. Любовь штука не новая, и написано про нее много разных более интересных вещей, нежели роман наших героев — Васи и Веры. Но и повесть эта не для того пишется. Хочется на память потомкам оставить все великие и малые завозы быта, из которого на нас глядят наши герои. Хочется записать для памяти людям всех этих клопов, страх произнесенного слова, ужас сознания от того, что отец оказался священником, все эти «завоськи», все эти «единные стройные системы», в которых домой приносились голодные обеды, все те мелкие капельки пота, из которых слагается океан человеческих страданий, страданий повседневных, а потому и кажущихся незаметными.

Хочется сохранить на память и то, что, несмотря на все эти капельки пота, людей не по-

кинула человеческая искорка мысли, и что мысль эта, просясь наружу, раньше или позднее нащупает ответ. Пусть Андрей Васильевич не смог ответить на Васин вопрос. Думается, что до тех пор, пока живо вопрошание, жива и надежда, что правда, ужасная правда выйдет наружу. Хотя и не о ней наша речь. Этим пусть занимаются философы. Мы же здесь продолжим наше бытописание. Продолжим записки, не взирая на вкус читателя, так, как они начаты, даже если повесть и будет скучной и неудачной. Не о весельи наша повесть, а о скорби. Допустим, читатель не раз с досадой отложит эти записки, а быть может, и вовсе отбросит их, чтобы не брать в руки вновь, лишь только увидит, что нет живой увлекательной фэбулы, которая, динамично развиваясь, захватила бы его внимание. Но . . . пусть будет, как будет.

Как ни мрачны наши дни, нет человека, которому чужда была бы надежда. Быть может, и этим запискам суждено будет увидеть свет. Быть может, когда-нибудь их будет держать в руках юноша или девушка, вроде Васи или Веры . . . Пусть они тогда, дыша полной грудью в обстановке свободной жизни в России, вспомнят о горечи тех дней, в которые живет наше бедствующее поколение в России. Пусть и они задумаются над подлинной историей революции, пусть и они, следуя примеру Андрея Васильевича, сопоставят . . . И, видя пути, приведшие русское общество к маразму революции, пусть найдут ту силу, которая единственно способна создать жизнь, достойную человека.

Вы видите уже жизнь наших героев. Не героев, а обыкновенных людей, таких, каких мно-

жество. Видите, как она скучна, тютостна, безрадостна. Вы видите в то же время, что жизнь продолжается. Всюду идет жизнь. Получилось так, словно Россия, умирая, приказала своим детям долго жить, и они, послушные силе, заложенной в них своей матерью, жить продолжали. Они радовались, они печалились, они любили и ненавидели, они боролись за свое существование, и борьба их была не только физической, но и нравственной. В этой нравственной борьбе они продолжали жить духом своей матери России, и этот дух проявлялся отдельными блестками то здесь, то там. Он сохранялся в толще народной, чтобы как только возникнет возможность свободно мыслить и действовать, развернуться во всю ширь, и чтобы в духе неумирающего народа вновь востала во всей славе и силе Россия — Святая Русь.

ХII

СВАДЬБА

Тяжелые будни зимней учебы закончились экзаменационной страдой. Ее бурно переживала наша молодая пара и их родители. Даже посторонние проявляли интерес. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что в конторе нет посторонних, а директор не услышит из своего кабинета, Иван Васильевич Попов ежедневно спрашивал Анну Митрофановну:

— Ну, как? Удастся молодому поколению перегрызть молодыми зубами гранит науки?

На это Варвара Петровна делала ему внушение, указывая, что лозунг о граните науки и о молодых зубах был дан Троцким, почему его упоминать и не следует. На это Попов только бурчал:

— А, ну их всех ко всем чертям!

Это не мешало ему завтра же задавать тот же вопрос.

Видя горячку дочери, вызванную экзаменами, видя ежедневно на улице толпы детей, слыша, как они между собою говорят о билетах, о задачах, о правилах, Варвара Петровна чувствовала себя глубоко оскорбленной. Она страдала, как может страдать боевой конь, запряженный в водовозную телегу, когда он слышит звуки горна. Но что было делать?.. Она безразлично перебрасывала косточки счетов. Дебет, кредит, сальдо. Дебет, кредит, сальдо.

Вера и Вася, как и сотни тысяч их сверстников, едва спали, проводя ночи напролет в повторении программы. Они похудели, пожелтели и осунулись. Для них обоих это были выпускные экзамены, требовавшие исключительного напряжения.

Но вот и экзаменационные дни пришли, промелькнули и остались в прошлом. Прошли экзамены хорошо. Вера сдала блестяще. У Васи тоже все было в порядке. Отметим они оба получили хорошие. Вася был вправе мечтать о назначении на работу в вождеградскую лабораторию. Мечты вели его, однако, дальше. Он мечтал отработать обязательные годы в Москве, чтобы, благодаря этому, можно было легче посту-

пить в ВУЗ, а потом переключиться на научную работу.

В горячке экзаменов он не замечал какой-то навязчивой мысли, которая его сверлила. Но стоило горячке кончиться, как мысль эта опять все сильнее и сильнее стала беспокоить его. Это беспокойство возникло у него почему-то с того момента, когда он опустил руку в карман и нащупал там дыру. Он сам недоумевал: «Что за чорт? Ну, дырка и дырка. Надо зашить и все тут!» Но как он себя ни успокаивал, беспокойство не унималось.

Дипломы должны были быть выданы осенью, но факт благополучно пройденных экзаменов был налицо. Все было хорошо. Вася вступал, как говорится, в жизнь, и жизнь его встречала цветами и улыбками. Самой большой улыбкой было решение сделать явным то, что до тех пор порознь знали все и без всяких объявлений: что Вася женится, а Вера выходит за него замуж.

Барвара Петровна по этому случаю усиленно подштопывала кое-что из носильного, пыталась собрать еще разные предметы и называла эту операцию приготовлением Вериного приданого. Наконец, был назначен день свадьбы, и он в свое время наступил.

По этому случаю у Митиных было устроено «гран гала». Денег подкопили, подзаяли, нажали повсюду, где был кое-какой блат, добывая продукты, и Анна Митрофановна превозшла самое себя, учреждая свадебный пир. Досталось и кастрюлькам и сковородам, и знаменитый ночной горшок, привезенный Поповым из Москвы, блестяще себя оправдал. В нем снача-

ла был сварен настоящий квас, а потом приготовлена окрошка. Замечательная была окрошка! Были приготовлены котлеты, винегрет, сварен был компот из свежих фруктов, была водка. Словом, праздник, так праздник! Дает Бог, сынтю раз в жизни женится. Есть что отметить пиршеством.

У Андрея Васильевича начались летние каникулы, у Анны Митрофановны время было свободно от очередных балансов, и она приходила домой задерживаясь в конторе, лишь часа на два позже нормального. В балансовое время она задерживалась часов на пять. Вася благодумствовал, и у всех настроение было великолепным.

И вот за столом в тесноте комнаты Митиных собрались они, Вера и Варвара Петровна. Позоже ждали сверстников новобрачных. К позднему обеду должны были придти Попов и Жовтынский. Вечерело. Все было готово. Хозяйева посматривала на часы. И вот тут Андрей Васильевич подшел к двери и навесил крючок. Потом закрыл окна.

— Андрюша! Жарко! — воскликнула Анна Митрофановна.

— Молчи, мать — отозвался он властно.

Лицо у него в этот момент было серьезным и сосредоточенным. Все смолкли, поняв, что он хочет сказать что-то значительное.

— Вот что, дети, — начал он. — Пока мы здесь одни нашей семьей. Слушайте. Не в такое время живем, чтобы венчаться в церкви. Бог вас и нас простит. Но я хочу, чтобы вы оба не смели думать так просто про брак, как вот, мол, запишусь, да и распишусь потом. С этого вот дня вы будете мужем и женой, и я хочу, чтобы

у вас этот момент, как священный и торжественный, остался на всю жизнь в памяти и в сердце. Встаньте.

Все встали. Андрей Васильевич вывел Васю с Верой на свободное место, а сам подошел к шкапу и достал из него образ Божией Матери.

— Вот, дети. Этой иконой меня отец благословил, когда я на войну уходил. К ней я приходил со всеми своими скорбями и радостями. Страшные дни бывали. Жив остался, слава Богу. Перекреститесь и целуйте икону. В ней вам обоим мое отцовское благословение. Пусть она вас ограждает от бед, даст вам силу быть честными в жизни, даст вам большое счастье.

Сказав это, он благословил каждого из молодых, а потом их обоих.

— Целуйте икону.

Молодые неловко перекрестившись, приложились к образу. Вася стоял ошеломленный. Вера видимо крепилась... но не выдержала и, разрыдавшись, бросилась на шею к матери.

— Мама! Мама! Ведь и папа с нами? Правда же он с нами сейчас?.. Скажи мне, что он нас тоже видит, что и он дает нам свое благословение. Скажи!

Ее плечи дергались от рыданий.

— Зачем они убили моего папу! Зачем!

Все были смущены. Андрей Васильевич покраснел, как вареный рак и развел руками. Смущенно он прошептал жене:

— Ведь я о радости их поздравил, а они в слезы... Почему?..

Наконец, Варвара Петровна, овладев собою, взяла твердо Веру за руку и подвела ее к:

Васе. Тогда молодые люди со слезами восторга от полноты сердца и с улыбкой счастья крепко расцеловались и обнялись.

— Хмелем бы их обсыпать! — воскликнул Андрей Васильевич.

В это время скрипнула калитка, и послышались шаги.

— Скорее! Скорее сюда! — заторопился отец. Он схватил икону, чуть не вырвав ее из рук у сына, и спрятал ее в шкаф. И как раз во-время. Жовтынский уже поднимался по ступеням крыльца. Он шел с цветами и принес поздравления с окончанием ученья и с браком. Васе он принес коробку отличных папирос, Вере красивую коробку конфет, а Анне Митрофановне — немного сахара и масла. Все. разумеется, из закрытого распределителя райкома партии.

Не заставил себя ждать и Попов. Его подарок — чулки. Еще с Москвы сообразил закласти. В комнате сделалось шумно, оживленно и ужасно тесно. Но вот хозяйки пригласили гостей к столу.

— Хозяин просит дорогих гостей...

— Послушать пастораль про искренность настушки, — подхватил Попов известными словами из «Пиковой дамы».

— Да, что там «пасторали!» — весело отозвался Жовтынский. — Честным пирком да и за свадебку. Вот так-то по-русски!

Молодые улыбались, смущались, краснели. Старшие радовались их счастью.

Обед прошел чудесно. Было весело и непринужденно. Пили и возглашали тосты, кричали «горько». Окрошке отдали честь и хвалили

ее по-знатоцки сравнивая ее с лучшими окрошками, которые им приходилось знать. Вспоминали своих бабушек, которые были большими мастерицами по части окрошек. Хвалили и квас. Попов рекомендовал его особенно, присовокупив при этом, что он «почти как тот непревзойденный и славный на всю Москву квас, что монахи делали в Даниловом монастыре».

Водки вскоре не хватило, и Васе пришлось быстренько «смотаться» в лавку за следующей бутылкой. К концу обеда все чувствовали себя приподнято и благодушно. Попов про себя думал: «Чорт возьми! Как будто и нет советской власти!» Развеселившись, он, не щадя красок, в тысячный раз рассказывал о своей московской покупке, и все от души хохотали, когда он в лицах представлял сцену своего разговора с иностранцами.

Вася с Верой наперебой рассказывали о своих впечатлениях от экзаменов. Вера призналась, что по истории она выучила только один билет, и что ей именно удалось вытянуть как раз этот билет. Заслышав об истории, Попов насторожился и начал рассказывать про старую Москву. Делал он это мастерски. Он был специалистом по Китай-городу и стал о нем вспоминать, увлекая всех вглубь веков, в недра русской старины. Не заметили, как свечерело.

История вызвала отдельные замечания из области философии. В разговор вмешался Жовтынский. На эти темы откликнулся и Андрей Васильевич, делал свои замечания и Вася, бодро цитируя философские фразы из курса диалектического материализма. Легкое подпитие сказыв-

валось. Все говорили уверенно и философствовали терминами решительными.

За свадьбой зашел разговор на философскую тему. Это среди русских случаев вовсе не удивительный. Особенно в связи с тем, что теперь все были обязаны изучать философию марксизма, умы пришли в движение. Правда, все чувствовали, что дело сводится к заучиванию готовых формул, от которых отступать не позволено, но люди думали. Мысль осталась жить, и философские беседы охотно подхватывались в компаниях самых разных людей. Таким образом, здесь на свадьбе тирада Жовтынского о диалектическом восприятии идеи о вещи в себе не звучала, как что-то неуместное.

— Знаете, — промолвила Анна Митрофановна Варваре Петровне, — мне это напоминает молодость. Так-то вот тоже мы тогда любили в кружках шуметь, когда Андрюша мой был студентом. Уж он любил говорить! Бывало...

А Андрей Васильевич как раз в этот момент и отозвался.

— А вот позвольте! — веско произнес он. — Слышу, как вы изволите говорить о материи и энергии, как о единственных источниках и элементах бытия и жизни. Я ведь в этом тоже не совсем профан. Быть может, и я имею свое суждение. Конечно, чтобы внятно и членораздельно изложить все, что я имею, надо быть абсолютно трезвым. На свадьбе же трезвых не терпят. А сказать хочется. Поэтому, если молодая хозяйка разрешит... (Вера вспыхнула пунцовым цветом), то я предложу вашему вниманию записку, которую давно составил.

Вера, разумеется, ответила утвердительно кивком головы, старшие выразили интерес, и Андрей Васильевич, достав из стоявшего тут же рядом письменного столика тетрадку, надел очки и стал читать.

— Все таки записали ? . . — вскинулся Жовтынский.

— Нет. Это не то, — ответил Митин и начал.

ХІІІ

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КВАДРАТ

«Будучи по профессии математиком, — читал он, — я также вынужден был преподавать детям и взрослым, кроме того, и физику, и химию. Это сосредоточило мое внимание на науках точных. Ставя их всегда основой моего мышления, я, впрочем, пришел к мысли, что ими одними ограничиваться нельзя.

Мы неоднократно убеждаемся, что как физика, так и ею порожденная техника, основаны на математике, и без оной шагу ступить не могут. Это дает нам доказательство тому, что между материей и числом или, иначе сказать, математической величиной, существует отчетливая связь, законы которой не могут нарушаться без ущерба для того, кто бы их нарушил. В самом деле, связь между числом и материей су-

ществует. Без расчета ничего сделать нельзя: ни мост построить, ни машину выдумать. Но, спрашивается, является ли расчет панацеей, средством, которое само по себе достаточно? . . . Не задумавшись над этим, человек счел себя полновластным хозяином на земле.

Определился стандарт мышления, якобы при наличии верных предпосылок мы неизбежно приходим к верным выводам на будущее. Успех в развитии материальной культуры, т. е. цивилизации и техники, дал человеку искусительную уверенность в своих возможностях.

Соображая соотношение техники, математики и человеческой жизни, я убедился в том, что в этом искусительном положении материалистического мировоззрения наличествует большая сила убедительности. Убедительность эта так велика, отчетлива и решительна, что она сама собою заслоняет некоторые обстоятельства, эту самую убедительность ниспровергающие. Дело в том, что материальный мир, который нам очевиден, в каких-то пунктах вовлекает участие факторов либо мало заметных, либо совершенно незаметных, либо уловимых лишь при нашем знании об их существовании и желании их уловить, либо абсолютно ускользающих от наших способностей составить себе представление о них, но, тем не менее, факторов наличествующих в жизни и действующих то конструктивно, то деструктивно на все, с чем они соприкасаются. И спрашивается: все ли мы знаем?»

Здесь он сделал паузу, поверх очков многозначительно взглянув на слушавших. Вера

слушада внимательно, и на ее лице было то же самое выражение, с каким она, бывало, терпеливо выслушивала лекции в техникуме. Вася смотрел на нее, и на его лице был написан влюбленный восторг, которого он и не думал скрывать. Дамы, занятые в углу комнаты приготовлением посуды к чаю, между собою шопотом обменивались замечаниями чисто хозяйственного порядка («Где полотенце?..» «Ставьте чашки вон на тот угол...») и переставляли посуду, желая как можно меньше нарушить тишину. Попов курил спокойно и следил глазами за облачками выпускаемого им дыма, хотя видно было, что слушал он внимательно. Жовтынский настроенно прислушивался. Особенно последнее: «Все ли мы знаем?» заставило его поднять голову и изобразить на лице ожидание чего-то нового и интересного.

Не станем повторять целиком весь трактат Андрея Васильевича. Ограничимся лишь важнейшими его пунктами.

Развивая свою тему, Митин привел факт о мышлении бушменов, описав подробно, что дикари не имеют представления о числительном. Они воспринимают лишь именованные числа, математические же величины, даже в столь примитивном виде, как «дважды два — четыре», их уму непостижимы и не имеют никакого соответствия в их языке.

Варвара Петровна здесь было пыталась сделать какое-то замечание о грамматической роли числительного, как явления самодовлеющего, и как прилагательного, но Вера ее перебила:

— Ах, мама! Опять ты про грамматику!

«...но от того, — гласил дальше митинский текст, — что бушмены не способны додуматься до отвлеченных величин, эти величины существовать не перестают. Они активно продолжают действовать в их жизни, как и в жизни каждого из нас». Тут Андрей Васильевич весьма живописно изобразил картину того, что случилось бы, если бы бушмен стал строить железнодорожный мост. Не имея представления об отвлеченных величинах, бушмен наделал бы лишь безобразий. Дальше Митин привел слушателей к загадке: «Хотя мы и более развиты, нежели бушмены, но что дает нам уверенность полагать, что и вокруг нашей жизни тоже не участвуют некие незримые силы, до которых наша мысль не в состоянии дотянуться? Ведь, есть же у нас какие-то интеллектуальные способности хотя бы отчасти постигать то невидимое простым глазом, что к нам относится так, как отвлеченное числительное относится к бушмену»? В этот момент Варвара Петровна, держа в руках чашку и полотенце, громко произнесла:

— Вера...

Вера обернулась к матери.

— Что, мама?

— Да я не тебя. Я хотела сказать, что вера есть та способность...

— Сейчас, мама, я тебе помогу. При моих-то способностях!.. — нарочито громкой шуткой отозвалась дочь. Она встала и подошедши к матери стала делать ей многозначительные знаки, указывая на присутствие Жовтынского.

Барвара Петровна поняла. Андрей Васильевич продолжал излагать свои мысли.

Последующий эпизод он особенно акцентировал, назвав его «заколдованным квадратом». Здесь изображалось, как некоему лицу было поручено сделать некоторые изменения в заданном ему квадрате. В квадрате находятся люди. На них отражаются все изменения формы и размеров фигуры, но «заведующий заколдованным квадратом», не учтя фактора высоты, как ему условно неизвестного, превращает квадрат в ромб и, наконец, стискивает его до такого состояния, что люди в квадрате задыхаются и гибнут. А заведующий заколдованным квадратом думает, что все в порядке, т. к. ведь он не изменил длины сторон! Не изменилась и сумма градусов в углах, и протак «заведующий», поэтому, решил, что площадь квадрата равна площади ромба, лишь были бы равны стороны. О высоте он понятия не имел, как и бушмен не имеет понятия о математической величине. Он и уплотнял!..

Пример этот вышел у Митина несколько запутанным, но получилось то, что в представлении слушателей личность упрямого недоумка «заведующего заколдованным квадратом» вдруг невольнo связалась с портретом, который всем им был так хорошо знаком. Андрей Васильевич читал:

«Кончилось тем, что высота, этот недоучтенный фактор, сначала подверглась сокращению, а потом была вовсе упразднена. Люди в квадрате стали задыхаться, кричать, молить о помощи, . . . но помощи не было ни отбуда».

При этих словах читавшего Ефим Матвеевич широко открыл глаза и, приподнявшись на стуле, произнес: «Позвольте!.. Это же...»

Но Митен продолжал свое доказательство, не заметив его движения. Все более и более нагромождая факты и иллюстрации, он неуклонно приводил к мысли, что жизнь настолько многогранна, сложна и неизведанна, что всякое начертание законченного плана организации быта обречено на неудачу, провал, на катастрофу. Желая дальше иллюстрировать сложность жизни, Андрей Васильевич предложил свою «формулу жизни». Он читал:

«По Менделееву, материя, являющаяся основным фактором жизни, состоит из 92-х элементов. Таким образом, возможности статических комбинаций определяются: девяносто два в девяносто второй степени, умноженное на плюс-минус бесконечность. Но это только в статике. Жизнь динамична. Этот динамизм вынуждает нас каждый из сочленов указанной формулы предварительно умножить на фактор времени, причем единицы последнего должны каждая предварительно умножаться на плюс-минус бесконечность. Но это еще только начало формулы материальной жизни, ибо сюда же, в формулу жизни, входят еще и элементы энергии, каждый из которых в свою очередь...»

— Постой, постой папа! — перебил здесь Андрея Васильевича Вася. — У тебя, в конце концов, какая-то фантасмагория получается.

— В самом деле. Накрутил, отец, — заметила, полушутя, Анна Митрофановна.

Эти замечания нарушили общее напряжение. Действительно, Андрей Васильевич не со-

размерил обстановки. Утомившиеся слушатели сразу заговорили и зашумели.

— А я бы эту формулу с интересом на арифмометре прокрутил бы, — заметил, шутя, Попов. — Или на счетах? А?.. Цак, цак, цак... и пажкалста! А как у вас, дорогие граждане, формула вот этого вот химически чистого вещества? А? — Попов взялся за бутылку водки.

Андрей Васильевич смутился.

— Я вижу, что и в самом деле, может быть, лучше не стоило бы читать? — произнес он смущенно улыбаясь. Вере его даже жалко стало.

— Что вы, Андрей Васильевич! Было очень, очень интересно!

Как бы горячо ни было ее восклицание, произнесла она его так, что видно было, что ничегошеньки она не поняла.

В шуме раздавшихся восклицаний один Жовтынский сидел, неподвижно уставившись на Андрея Васильевича. Глаза его были неподвижны, рот полуоткрыт, лицо бледно. Дамы это заметили, и Анна Митрофановна приписала это действию водки. Тут же она объявила, что сейчас будет чай.

— Будете воду кипятить? — как-то неожиданно, словно пробуждаясь от гипноза, вскинулся Жовтынский.

— А вот сейчас на печончке. Пойдем-ка со мною, Верок.

Анна Митрофановна вышла из комнаты и через минуту темнота двора озарилась ярким пламенем растапливаемой мангалки.

— Вы позволите мне, Андрей Васильевич, посмотреть вашу записку? — спросил Жов-

тынский и, получив ее в руки, вышел из комнаты быстрыми решительными шагами. Андрей Васильевич только рот открыл, так быстро это произошло. Через окно слышались восклицания. Потом было слышно, как Анна Митрофановна всплеснула руками и ахнула.

А Андрея Васильевича водка стала разбирать все больше и больше. Он не был пьян, но в голосе его чувствовалась нетвердость.

— Знаешь, Вася! Если бы я не пил, я, наверное, не стал бы читать своей записки. А то вот, кажется, я, старый дурак, тоже какую-то проблему решил... как твой товарищ Сталин. Тебя учил, а сам... Где моя тетрадка? — резким тоном обратился он к вошедшему Жовтынскому.

— Тетрадка? Какая?

— Та, что я только что читал.

— Вы? Читали? Понятия не имею. — Спокойно ответил Ефим Матвеевич.

Все воззрились на него с удивлением.

— То есть позвольте! — воскликнул Попов. — Вы что? Хотите нас позабавить китайскими фокусами?

— Запомните, пожалуйста, все, кто здесь есть в комнате: здесь полчаса тому назад никто никакой тетради не читал.

Эти слова Жовтынский произнес тихо, но раздельно и ясно. Они прозвучали столь решительно, лицо говорившего выражало такую непреклонную волю и так отчетливо требовало абсолютного подчинения, что у всех глаза остановились от ужаса. Вполголоса он продолжал:

— Я это говорю на тот случай, если вам

дорога свобода и жизнь каждого из нас. Понятно?

— А тетрадка-то? Тетрадка?.. Ведь это документ. Где она?.. — лепетал окончательно растерявшийся Андрей Васильевич.

Анна Митрофановна, которая к этому времени вернулась в комнату, в ответ на слова мужа сделала жест руками и сказала: «Пу-у-уф-ф-ф»! Это должно было обозначать: «Сгорела и улетила в воздух». Жовтынский ничего не ответил Митину. Нарушая приличия, Жовтыпский схватил бутылку водки со стола, заплясал и кривляясь громко запел:

«Лодка будет плыть, плыть, плыть.

«А мы-да будем пить, пить, пить...»

Все поняли его намерение, подхватили песню, хлопали в ладоши, а Иван Васильевич Попов, обняв вместо дамы другую бутылку, пустился тоже в пляс. Он понял, что надо создать картину пьяной оргии и старался изо всех сил. Шум получался. Оргия — нет.

Желая вернуть спокойное настроение, преодолевая собственное смущение от происшедшего, Вася поставил на граммофон какую-то пластинку. Граммофон он взял на этот вечер у кого-то из друзей. Появился чай, фрукты. Постепенно настроение разрядилось. В одном углу комнаты появились шахматы. Послышалось обычное: «Давненько не брал я в руки шашек» и ответное: «Знаем мы вас, как вы плохо играете».. В другом углу комнаты кто-то с кем-то беседовал. Вася с Верой пробовали пройти в тесноте комнаты туром вальса. Легкий хмель рассеивался.

Попозже пришли кое-кто из приятелей молодых. Товарищи по техникуму, ветеринары и педагоги. Неловко поздравили молодых, поднесли цветов. Юноши крепко жали Васе руку. Ненадолго присели к столу — к выпивке и закуске. Пришел и осовиахимовский приятель Рабинович. Он принес из «Гастронома» «немножко что-нибудь изысканного» для молодых. Банку икры! Выпили за здоровье молодых и кричали «горько». Молодые целовались. Потом молодежь заполнила собою Васиного уголок, утеснилась на его кровати и после не поладившейся беседы, — начали по чьему-то почину петь песни. Попов оживился. Присоединился к молодежи и пытался, было, тут же устроить из них хор. Разбил на голоса, пытался давать тон. Но из этого ничего не вышло, и неудавшийся регент смущенно удалился на крылечко.

— Так что, видно, мы уже в старое поколение записаны... — подумал он с оттенком грусти о себе. Была молодость и ушла. Ему стало печально.

Молодежь, между тем, избавившись от опеки, принялась за песни из кинофильмов. Пели довольно стройно. Жовтынский, отрываясь от шахматной доски, выкрикивал гм новые и новые названия, и они дружно начинали. Но оказывалось, что дальше первого куплета певцы не знали слов. Быстро обрывались и «Сердце девичье» и «На закате ходит парель». Тогда Жовтынский оставил шахматы и, подойдя к певцам, запел: «Широка страна моя родная...» Хор тотчас же сладился. Подхватили даже те, кто поначалу отмачивался. Знакомые слова, знакомый напев, и песня пошла бодрым шагом стро-

фа за строфой. В голосах слышалась жизнерадостность. Молодость брала свое, брала то, что ей принадлежало. Звучи песни были слышны повсюду.

Попов, стоя на крылечке, тоже слышал пение. Не слова, не напев... Нет, именно молодой задор поразил его внимание. Глаза его подернулись дымкой печали. И он когда-то тоже был молод. Был счастлив, был полон надежд. Отрывки юности мелькнули перед его взором. Университет... Кружки... Бегали по лекциям, спорили о книгах, не пропускали ни одной премьеры в Художественном, ни одной выставки картин. Все виденное проходило перед ним, словно было вчера.

Невесту свою встретил впервые на выставке картин. Что это было, что так тогда поразило их обоих, что они разговорились? Вагон, решетка на окне, изможденные лица арестантов, солнце светит, голуби крошки клюют...
Всюду жизнь.

«Всюду жизнь привольно и широко

«Словно Волга полная течет...

До него донеслись голоса молодых людей.

Всюду жизнь. Всюду жизнь...

— Они тоже думают, что у них жизнь. И это при советской власти?.. Когда же ей-то будет конец? Будет ли?

Попов глубоко вздохнул. Смахнул с ресниц что-то непрошенное...

Потом «надел на себя бодрое лицо» и вернулся в комнату, где праздновали свадьбу. Здесь в тесноте, в тысячах мелких ежедневных обид, в страхе, в бесконечных недостатках, в сознании окружающей лжи, против которой то-

лько во хмелю можно решиться поднять свой голос, в бесконечном, непрерывном труде, который не покрывал насущных потребностей... здесь праздновали свадьбу. Радостный миг всей жизни. Здесь тоже была жизнь.

Потом молодые гости ушли на танцы. Осталась своя семья. Тихий вечер поплыл на крыльях старинных вальсов и цыганских романсов, которые Вася и Вера меняли на граммофоне.

Но вот пора и расходиться. Было тепло и тихо. Легкий дождик сбрызнул зелень, прибил пыль и освежил воздух. Вася шел с Верой и Барварой Петровной, беседуя о том, когда и как им удобнее всего обоим поместиться в Вериной комнате. Вася надеялся перебраться к жене в ближайшем будущем. Пока что, он продолжал жить с родителями.

Поодаль от них шествовали Жовтынский и Пшоп.

— Не понимаю, почему вы так взволновались по поводу этой тетрадки? — говорил Пшоп. — Полигика ведь в ней нет. Просто папросто трактат философа-диллетанта. Он не касается ни колхозов, ни стахановцев, ни строительства социализма в одной стране. Отвлеченная философия и только.

— М-м-м-да... Конечно. Это вы так думаете. Ни загиба, ни уклона, ни перегиба в ней не видно. Сталина не касается. Ленина тоже. Но это только вам так кажется, потому что вы неискушенный человек. Но вы-то понимаете или нет, что все наше дело именно и основывается

на, как вы выразились, «отвлеченной философии». Наша философия основана на том, что мы все знаем. Это дает нам уверенность так твердо идти к намеченной цели. Ну вот... А эта тетрадка, которой, заметьте, ни вы, ни я никогда не видали и не слышали, и которой никогда не было в природе...

Попов утвердительно кивнул головой.

— Эта тетрадка почву у нас из-под ног вырывает. Она ставит под сомнение, она, если только она верна, опровергает... Вы понимаете? Опровергает! Нет, нет. Она хуже всех загибов и перегибов, хуже всякого троцкизма.

Легкий ветерок мягко шелестел влажными листьями деревьев.

Андрей Васильевич держал Анну Митрофановну за плечи и, глядя ей в упор в глаза, твердил:

— Плюнь мне в морду. Плюнь мне в морду.

— Да что ты, Андрюша, Бог с тобой. Успокойся.

— Зачем я читал? Зачем я читал?

— Да, успокойся же.

Тут он отошел от жены, схватил себя за волосы и с отчаянием и выразительностью не абсолютно трезвого человека воскликнул:

— Когда же нас, наконец, совсем расплющит этот заколдованный квадрат?

Он в изнеможении упал на стул, склонил голову к столу на руки и разрыдался.

Боже мой! Боже мой! Неужели этому не будет конца?..

Жовтынский долго не мог успокоиться. Уже придя домой, в свою одинокую комнатку, он сел за стол и задумался. Записка Андрея Васильевича произвела на него сильное впечатление. Перед ним открылся новый горизонт. Он «беседовал со своей пепельницей». Она скоро наполнилась окурками. Все, что говорил Митин, было революцией в мышлении Жовтынского. На его глазах все учтенные до последней иоты факторы привели страну и народ к катастрофе. Это он видел, и в этом он давал себе ясный отчет. Пришло время заглянуть за пределы заколдованного квадрата, понять, что не «что-то не так», но что «все не так». Он знал уже давно, что происходит для тела насилие, а для души ложь, но до сих пор для этого у него были оправдания. Теперь эти оправдания выскальзывали у него из-под ног, и он летел в какую-то пропасть. Но пропасть эта не была мрачной. Наоборот. Широкий, необъятно широкий, мир открывался перед Жовтынским. Этот мир и пугал своей беспредельностью, и радовал, принимая его в общение с собою. И все-таки было страшно. Качая головой, он говорил сам себе:

— Эх, Ефим, Ефим! Дурак же ты был, когда хотел копать на штык глубже. Ей же, ей, дурак. Было б тебе не просить ножичка грязцу с себя счищать. Не знал бы ты этого старика с его думками, сидел бы себе в грязи, и было бы тебе благо. А то вот теперь кое-чего нового уз-

нал... Ну куда ты себя теперь девать будешь? Куда?..

Он подошел к книжной полке и, морща лоб, стал пересматривать корешки изящно переплетенных книг. Это было его детище: собрание классиков марксизма-ленинизма. Взяв осторожно одну из книг, он стал лицом к висевшей над столом лампе, раскрыл книгу и стал ее листать.

— А ну, старина, ты что скажешь?..

Книга эта была «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса. Жовтынский стал отыскивать страницу, использованную им при не столь давней антирелигиозной лекции. Текст взятой тогда цитаты неясно сохранялся в памяти, и нужно было неясность устранить; нужно было разобраться в вопросе применительно к тому, что пришлось выслушать из уст старика Митина. Скользя глазами по строкам, он быстро перелистывал...

— Ага, вот оно!

«...всякая религия, — читал он, — является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных...»

— Гм, пока что ладно. Верно. Земная сила этой самой величины, про которую бушмен не знает... До нее-то, видно, творцы древних религий и додумывались... Ее-то, видно, и обоготворяли. Ну-с, дальше...

«В начале истории объектами этого отражения являются прежде всего силы природы, которые...»

— Постой, постой! Силы-то природы, стало быть, не в громе и молнии, дело не в страхе перед ними, а в сознании вот этой вот самой штуки, до которой руками не дотянешься! Чего ж они нам головы громом да молнией забивали?

«...которые при дальнейшей эволюции проходят у различных народов через самые разнообразные и пестрые олицетворения. Этот первоначальный процесс прослежен при помощи сравнительной мифологии...»

— Ну, брат ты мой, не так-то это просто!

«Но вскоре, наряду с силами природы, выступают также и общественные силы, — силы, которые противостоят человеку и так же чужды и первоначально так же необъяснимы для него, как и силы природы, и подобно последним господствуют над ним с той же кажущейся естественной необходимостью. Фантастические образы, в которых...»

— Постой, постой!.. «с кажущейся необходимостью» ты говоришь?.. А вот тебе и «кажущаяся необходимость с этой самой высотой в квадрате. Этак и бушмен решит, что «дважды два» это «кажущаяся» необходимость, решит, что с «кажущейся» необходимостью на нас воздействуют те силы, о которых мы не знаем. Не знаем, а они есть. Это они на нас воздействуют. Мы против них бессильны. Есть они, старик. Есть! Понимаешь, друг ситцевый, что они есть... Что же ты, философ с мировым авторитетом, толкуешь такое? Кажущаяся необходи-

мость! — с иронией воскликнул он. — Думать надо, когда пишешь, дорогой товарищ Энгельс!

И Жовтынский с гневом швырнул книгу в угол комнаты.

— Есть! Понимаешь ты, что есть!

И вдруг с этим словом ему вспомнилась картинка юности. В их деревне был мужичок Максимка, Христа ради юродивец. Он ходил по хатам и часто повторял одну и ту же фразу: «Бог е, та нэ нам. А Вин е». Посмеется юродивец и прямо в лицо еще раз повторит: «Ты кажешь Його нема, а Вин усэ такы е!»

А один раз, встретив Ефима Матвеевича, говорит ему: «О так хтось у Москвы каже, шо Максимкы немає, а я ось туточки!» Расхохотался прямо в лицо и побежал прочь.

И перед глазами Жовтынского, словно въяве, появилось морщинистое лицо юродивца и его беззубый хохочущий рот. Жовтынский потер себе лоб и стал трясти головой, отмахиваясь от мысли, которая сама толкалась ему в сердце.

— Нет, нет... Что-то не так. Что-то страшно не так... Ничего не понимаю...

На пожарной каланче пробило полночь. Жовтынский почему-то насчитал только восемь ударов. Приготовил постель и стал готовиться ко сну.

Конечно, будь Митин политически более грамотен, он никогда не решился бы читать свою записку, т. к. понимал бы ее политическое

значение. Пожалуй, не выпей он лишней рюмки водки, он не почувствовал бы желания покрасоваться перед друзьями своими заветными мыслями. Это Ефим Матвеевич тоже понимал. Думая о Митиных, Жовтынский вдруг пришел в беспокойство. Он взглянул на стену, где висел большой портрет.

— Ну, как? Что скажешь, «заведующий заколдованным квадратом?» Люди думают. Все-таки думают. А?.. Ничего ты с ними не поделаешь. ... Ну? Что? ... Молчишь. Вождь! Вождь четырехмиллионного племени бушменов!

Он встал со стула, подошел поближе к портрету и, глядя ему в глаза, повторил:

— Бушмен!

Человек на портрете безмятежно попыхивал трубкой.

— Донесут или не донесут? — продолжал рассуждать сам с собою Жовтынский. — Интеллигенция! — презрительно процедил он сквозь зубы. — Донести, пожалуй, не донесут, а вот выболтать?.. Да и то нет. Я их хорошо припугнул. У отца-то лицо совсем побелело. Даже жаль человека.

Успокоив себя, он стал раздеваться. Уже в одном белье он сел на кровать и вдруг почувствовал, как у него на темени зашевелились волосы.

— А что если соседи?..

Болела голова.

Человек на портрете продолжал безмятежно попыхивать трубкой.

ХІУ

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ МИТИНА

Если бы Вася еще в начале года сообразил, что его случайные первые, а потом неслучайные встречи выльются в чувство настоящей хорошей любви, если бы он, ощутив первые признаки этого чувства, смел надеяться, что Вера ответит ему, если бы, наконец, яркое чувство не охватило их обоих так властно и не привело их к браку, то он заранее принял бы меры. Еще в январе подал бы заявление о предоставлении ему путевки в дом отдыха, устроил бы, чтобы и Вере тоже дали путевку туда же, и они могли бы по точному рассчитанному расписанию провести свой первый месяц на отдыхе без забот и порадоваться тому новому, чудному миру, который перед ними открывался. Но все шло иначе, и когда Вася, уже во время экзаменационной сессии, после Пасхи, подал такое заявление в курортную комиссию техникума, то он получил отказ. Просто не осталось больше мест, да и было их мало. Ребята были свои, пробовали что-то сделать, но ничего не вышло. Места во всех домах отдыха уже были распределены.

Молодые люди, однако, решили искать путей, чтобы хоть во время отпуска, т. е. до при-

хода осени, когда надо будет начинать работать, побыть несколько дней в обстановке полного уединения вдвоем. Они решили поехать в Москву.

При их небольших средствах они не могли ни рассчитывать, ни надеяться на то, что поедут в отдельном купе и будут жить в отдельном номере в отеле. Они знали, что будут ехать в общем жестком вагоне, что в Москве их ждет общая комната в семье Вериного дяди, но их уже и то радовало, что они смеют и должны заботиться один о другом, как муж и жена. Самой Вере доставило неизмеримое удовольствие сказать одной из подруг, что на весь июль едет с мужем в Москву. Разумеется, это было сказано таким тоном, как вельможа Екатерининских времен говорил: «Я еду на свою мызу», или как богатый иностранец может говорить о небольшом полете на своем самолете из Нью-Йорка в Париж. Хвастнула девушка, и получилось здорово!

Ни Вася, ни Вера не придавали значения гражданской регистрации брака, сознавая, что она их ни к чему не обязывает. Однако, расписались. Вера переменяла паспорт, и ей доставило удовлетворение подписаться: М и т и а .

Билеты в Москву были заказаны за месяц вперед (ведь они ехали не по командировке), и молодые люди без помехи заняли свои места в жестком плацкартном вагоне. Вера поместилась на нижней полке, Вася — на второй. Публика в их отделении подобралась на редкость симпатичная, и хотя на секцию было восемь человек, они не чувствовали себя в тесноте. С

ними ехало два колхозника, командированные на Выставку, пожилая женщина с больным внуком, которого она хотела показать столичным врачам, какой-то инженер, да две учительницы колхозной школы, торопившиеся на сессию заочного института.

Поезд отходил утром, но стоило ему отдалиться от города, только промелькнули все пригороды, как каждый из пассажиров достал свою корзиночку с провизией и стал закусывать, чем Бог послал. Вера хозяйничала, и от этого оба были в восторге.

Молодая влюбленная пара принесла с собою и распространила вокруг себя то очарование, ту особенную атмосферу восторга жизни, которую только влюбленные с собою носят. Их шутки, их ласковые взгляды, их беспокойство одного о другом и взаимное влечение заставляли каждого из окружающих, глядя на них, улыбаться и радоваться их радости. И от этого у всех на душе становилось легче. Учительницам было легче зубрить, у старушки появилась уверенность, что профессор непременно вылечит ее внука, инженер, находившийся тут же, не так беспокойно думал о своей командировке, колхозники чувствовали себя непринужденнее в непривычном для них обществе городских людей. Как-то один из них заметил Васе:

— Хороша у тебя хозяйка-то.

— Ах, как хороша! — ответил Вася в восторге и вспыхнул до корней волос.

Все улыбались. Улыбалась им и бригада, контролировавшая билеты, и у всех на душе было очень хорошо.

Когда между ехавшими установились необходимые отношения — вагонное знакомство, — и наши двое детей убедились в том, что за вещи можно не беспокоиться, то-есть что никто ничего не вытащит, они стали выходить в тамбур, где можно было закрыть двери и остаться без свидетелей. Здесь они целовались. Слыша, как кто-то брался за ручку двери, чтобы пройти в уборную, они испуганно отскакивали один от другого, пытались принять непринужденный вид, будто только любовались расстилавшимися за окном пейзажами. А глаза их лукаво смеялись.

Вечером, улегшись на своей полке, Вася переклонился и долго смотрел вниз на Веру. Расстелив на первой полке плед, укрывшись своим пальто, она положила под голову деревянный баульчик, прикрыв его маленькой подушечкой-думочкой. От движения поезда голова ее слегка покачивалась. Ветер, задувавший в открытое окно, развеивал ее волосы. Она спала. Это был первый раз, что Вася видел ее спящею, и он нашел, что она прекрасна.

Потом убаюкало и его.

Но вот и Москва. Не без приключений они добрались до Елоховой площади, где в одном из переулков жил Верин дядя. Войдя в большой двор, молодые люди с изумлением долго пытались «разобраться в обстановке», как говорится в военных инструкциях. Сами они понять ничего не могли, а из проходивших никто не мог объяснить им, где живет нужное им лицо. Все торопились, все были заняты своим делом. Дом был большим, многоэтажным зданием. Подъездов было много, в каждой кварти-

ре жило помногу семейств. Неопытному человеку в этом лабиринте разобраться было трудно. Наконец, какая-то сердобольная душа подвела их к бесконечно длинному списку жильцов, вывешенному на одной из стен. Здесь они нашли имя дяди, номер подъезда, этаж и квартиру.

По очень непрезентабельной лестнице они поднялись на четвертый этаж и попали в длинный коридор, освещенный тусклым светом маленькой электрической лампочки. «Лампочка Ильича», — мелькнуло у Васи. По обеим сторонам коридора вдоль стен возвышались штабели корзин, ящиков, чемоданов, перевернутых кверху дном цинковых ванн, старых поломанных кресел и всякой иной неподобной домашней рухляди.

Наши дети растерялись и испуганно смотрели друг на друга. Одна из многих дверей, выходящих в коридор, была открыта, и Вася сунулся туда. Это была общая кухня. На большой плите, на столах, на подоконниках стояли шипевшие и нешипевшие примусы, и несколько домашних хозяек занимались своей работой. Варили и стирали. На веревочках, протянутых поперек кухни, было развешено белье.

На свой вопрос Вася получил короткий ответ:

— Прямо по коридору.

Не веря себе, они остановились перед маленькой фанерной дверью. Куда могла вести такая дверца? Из-за нее слышались голоса... Но не стоит отвлекаться описанием непрезентабельного быта москвичей. Дядя действительно жил за этой фанерной дверью. Он принял наших молодоженов с распростертыми объятиями.

хотя в тоне его голоса и выражении лица его многочисленных домочадцев не почувствовалось большой радости по поводу их прибытия. Дело в том, что дядя очень не хотел, чтобы как-нибудь открылось его родство с покойным братом, т. е. Вериным отцом, о котором он знал все подробности даже и тогда, когда от Веры они сохранялись в тайне. Дядя занимал ответственный пост в каком-то наркомате и, если бы открылось, что его брат был священником, это стоило бы ему места работы, а потом могло бы повести и к худшим последствиям.

Впечатление, впрочем, сгладилось легко, как только молодые люди сказали, что приехали лишь на короткую побывку. Надобно, конечно, сказать и то, что и Вера и Вася произвели исключительно милое впечатление. Они умели держать себя. Итак, пошептавшись с тетей, дядя предложил им — все дни, пока они будут в Москве, жить у него. Так и сделали. А куда им было еще деваться? Не идти же в отель «Москва». Там останавливались только интуристы, да очень важные командировочные. Насчет прописки решили не беспокоиться, ограничившись тем, что дядя сказал о своих визитерах завдому. Тот посмотрел на дело сквозь пальцы. «Стоит ли огород городить из-за пары дней», — решил тот. Дядя жил с тетей, с двумя старшими сыновьями, с их женами и со внуками. Хотя их комната была просторной, от такого скопления людей было тесно, тем более, что сюда была стащена почти вся мебель квартиры, которую дядя занимал здесь же до революции. Он был старым москвичем, и, оказывается, эта вся квартира, состоящая из семи комнат, раньше была в его

распоряжении. Теперь он был уплотнен. Однако, и Вере и Васе место нашлось. Васю положили спать под рояль, а Вере постелили на полу между столом и буфетом рядом с детьми, которым на это время пришлось потесниться. Дети всегда спали на полу. На день их постели сворачивались и укладывались на дядину кровать.

На другой день Вера с Васей отправились смотреть Москву, и уже к вечеру у Васи возникло неприятное чувство — сознание, что деньги поплыли гораздо быстрее, чем он ждал. План, намеченный в мечтах о времяпрепровождении в столице, нарушился мгновенно. Мечты о театрах, о целом ряде покупок и о прогулке, которую они хотели устроить дядиным внукам, пошли прахом. Одни поездки по городу в метро, на автобусах, мелочи и удовольствия, вроде порции мороженого, быстро дали себя знать. Вечером полусушня Вася говорил Вере:

— А папа, пожалуй, был прав, когда говорил о недоучтенном факторе. Цены-то московские... как бы это сказать...

На третий день Вася уже оставил Веру дома и один поехал по заранее заготовленным адресам. Он мечтал разузнать о возможности получить работу в каком-нибудь из московских ветеринарных или бактериологических учреждений. Ответ везде был один: работа нашлась бы, перевод из провинции оформить было бы можно, но лишь в том случае, если бы у Васи была квартира и прописка в Москве. Квартира — даже одна комнатка, даже угол в чужой проходной комнате были равны птичьему молоку, и даже, если бы он и нашел комнату, то право на прописку для постоянного проживания можно было бы

иметь лишь при том условии, что он уже был бы оформлен на работу. Этот заколдованный круг разрубить возможности не было никакой. Ни физически, ни юридически.

И тем не менее, Вася объездил все адреса. При поездках он не позволял себе никакой роскоши. В горле у него пересохло, а выпить прохладительного он не решался. Надо было держать на счету каждую копейку.

Вася сказал себе: «Стоп!» и поехал на Курский вокзал за билетами в Вожеград. Если бы молодые люди приехали в Москву, как командированные, или же если бы они были москвичами и собирались ехать на курорт, то билеты еще достать было бы можно. Но они приехали в Москву просто так, как свободные граждане свободной страны. Таким образом, поскольку они не были предусмотрены никаким регламентом, получение билетов для них равнялось получению квартиры или же ранее упомянутому птичьему молоку. Деньгиплыли.

Безмятежный медовый месяц наполнился огорчениями. На лице счастливой пары отразились заботы и тревоги. Три дня Вася поднимался в четвертом часу утра, бегал по очередям билетных касс то на вокзал, то в городскую кассу, то в кассу, где заказывали билеты с доставкой на дом. Пробовали заказывать и по телефону, т. к. и это удобство было предусмотрено для пассажиров. Все было безрезультатно. Билетов достать было невозможно. Наконец, кто-то посоветовал Васе поехать пригородным поездом до Троице-Сергиева (пригородные билеты добывались «без всякого унижения»), от туда как-нибудь, хоть пешком, добраться до

Александрова и там купить билеты до Вожеграда с пересадкой в Москве. Так он и сделал. На вокзале в Москве случилось недоразумение. Вася спросил билет до Троице-Сергиева, а оказалось, что город переименован в честь какого-то комиссара в Загорск. Васю заподозрили в злом умысле. Вмешался агент, который на несчастье, был возле билетного кассира. Васе удалось объяснить незнание своим провинциальным происхождением, и дело ограничилось проверкой документов в вокзальном отделении НКВД. Там пошугили над провинциальной темнотой, а когда увидели Васи́н комсомольский билет, то объяснили, что на таких ляпсусах иногда попадаются впросак иностранные агенты. Словом, ограничилось легким испугом и потерей полтора часов времени.

Вера оставалась в Москве, томила́сь и скучала. Прогуливаясь по ближайшим переулкам, она украдкой зашла в Богоявленский собор на Елоховой площади. В церкви она оказалась впервые за годы своей сознательной жизни. Она не знала, как себя вести. Поставила несколько свечек перед иконами и долго стояла перед одним из образов, думая о своем отце, о матери, о себе самой... и ни о чем. Из алтаря и с клироса доносились голоса, читавшие будничную службу, пахло ладаном. И эта ароматная тишина, этот покой и возможность побыть наедине со своими мыслями без людей надолго запомнились ей. Ей хорошо было быть одной с глазу на глаз с Богом. С улицы доносился грохот пробежавших трамваев.

Вечером дядя вызвал Веру на откровенный разговор. Расспросив о жизни матери Ве-

ры, он захотел поделиться своими надеждами, которые касались и Варвары Петровны. Кроме того, Вера была свежим человеком, которого можно легко заставить себя слушать. Вера должна была выслушать, якобы для того, чтобы пересказать матери. Дядя, внимательно следивший за газетами, особенно за «Известиями», т. к. это была правительственная, а не партийная газета, стал говорить о международном положении и делал из него практические выводы.

По его мнению дело сводилось сейчас к тому, что, судя по газетным сведениям, иностранный мир, наконец, принимает меры. Антанта решила укрепить Германию, для чего выпустили Гитлера на политическую арену. Америка недавно признала «наших», но это только для отвода глаз, чтобы наши успокоились. Как только Германия достаточно укрепится, непременно будет война. Америка будет оперировать на Дальнем Востоке, Англия — через Кавказ и Афганистан, а Германия — с Запада. С юга же, через Крым, повидимому, будет высажен десант Белой Армии. Дядя объяснил и почему он так думает. Конечно, он не ждал от Запада человеколюбия, чтобы тот пошел против советской власти ради спасения русских людей от террора. Нет. Его суждения были полны хладнокровной логики. С неопровержимой логикой он изложил факты: иностранные державы имеют все основания опасаться, что пока существует советская власть, зараза революции может переброситься и к ним, а кроме того западный капитал нуждается в нормальной России, как в рынке сбыта. Пока «нашим» не сделают хакакири, пока Россия не нормализуется, в капиталисти-

ческом мире неизбежны кризисы перепроизводства. Дядя говорил, что раньше он и сам ни на что уже не надеялся, но что после Гитлеровской революции и особенно после признания Америки, он приобрел окончательную уверенность. Война будет! А война это значит — конец этим нашим товарищам. Значит — мы снова увидим жизнь! Этому мнению держатся все в нашем отделе...

Вера слушала, стараясь запомнить, так как это все было бы интересно для мамы. Самое ее это касалось мало, и многое оставалось непонятно. Но не переспрашивать же!

— Так что конец, повидимому, не за горами, — закончил дядя и добавил:

— Но кроме мамы... никому!

Стоит ли замечать, что разговор этот происходил при принятии всех предосторожностей и почти шопотом.

На другой день из Александрова, полный энергии и довольный своей победой прилетел Василий. Он был горд тем, что ему удалось преодолеть почти роковое препятствие. Теперь в их распоряжении оставалось 18 часов. Они помчались в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей, и посещение этих мест дало им большое утешение. Кроме того, Вася рассказывал Вере о своих впечатлениях от Троице-Сергиева.

Никогда до тех пор не видев монастыря, он был поражен зрелищем, которое открылось перед ним, когда он сошел с поезда. Он решил-ся потерять время и пошел через город к монастырю, благо это было близко.

— Знаешь, — говорил он, — когда я был под стенами Лавры, мне казалось, словно вокруг

меня все еще пахнет порохом от защиты времен Смутного времени.

Внутри стен монастырь словно спал. Монахов, разумеется, не было, как не было и богослужения. Главный собор закрыт, в другой церкви — «Такая живописная, живописная!» называл Вася трапезную, — был музей игрушки и музей патриаршего быта. «Ах, какая красота! . . .» В храме, который сам преподобный Сергей строил, был антирелигиозный музей, а в большом притворе, который позднее пристроили, был тоже музей — церковь. На иконах были надписи, которые Вася назвал идиотскими. На одной иконе был обведен кружок, и подведена яркая стрелка с надписью: «Аз есмь сифилис». На другой — то же самое, только было написано: «Аз есмь туберкулез». Это якобы прикладываются к иконе больные. Ерунда! . . . Лучше бы газовой водой не торговали из общих стаканов.

— И я, знаешь, Верок, что еще видел? Видел дырку от польского ядра. Это когда поляки осаждали Лавру, а монахи держали осаду. Вот памятник старины! Эх, Верок, я ведь русский же! И я еще видел руку мученика Стефана! Совсем, совсем нетленная, только маленькая. Сохлась! . . . Она как раз наоборот! Противо-антирелигиозная пропаганда.

Но разве можно повторить весь восторженный рассказ? . . .

К дяде из музеев возвращались пешком. Хотелось побродить по Москве. Решили купить что-нибудь, чтобы ответить на внимание дядиной семьи. В кондитерской на углу Кузнецкого и Петровки присмотрели торт. Оказалось, что в

одни руки дают только 500 грамм, а штука весила два кило. Им отрезали на двое рук. Пришлось к чаю на стол класть резанный торт. Было стыдно.

— А консерв так и не посмотрели? — спросил один из молодых москвичей дядиной семьи.

Вера отрицательно покачала головой. Речь шла о мавзолее, где лежит набальзамированный Ульянов. Иные к слову «консерв» прибавляли еще одно непригодное к печати слово. Это потому, что в году этак в 25-м или в 26-м лопнула канализационная труба, залив мавзолеем своим зловонным содержимым. Тогда «злые языки» сложили стих, в котором Ульянова с консервом и сравнивали.

Там, где казнили Пугача,
Стоит консерв из Ильича.
Угас непризнанный мессия.
Неблагодарная Россия
Под грохот пушек и мортир
Спустила Ленина в . . .

Рассказывали еще, что кто-то из духовенства, услышав об этом мавзолеем событии заметил: «По мощам и елей!» Москвичи об этом с большою любовью вспоминали, и Вася с Верой, которые по провинциальной темноте об этом впервые слышали, от души хохотали. Позлорычили над Ильичем. Один из дядиных зятьев уверял, что он не «всамделишный», а восковой, и что он сам видел трещину у него на виске. Была она. или нет, точно неизвестно, но только многие действительно говорили, что видели своими глазами.

Вася очень болезненно переживал последние часы в Москве. Он никогда не чувствовал себя очень бодро в жизни, но он никогда не замечал и своей бесправности, своей нищеты и того, что он — пасынок жизни. Что он пасынок нелюбимый, выращиваемый лишь для того, чтобы работать, что радость жизни — не его удел, что он может этой радостью жизни пользоваться лишь украдкой, лишь урывками... Он жил в нищете, ее не замечая. Но теперь, когда он в самые яркие и радостные дни своей жизни приехал в Москву и был так оскорблен ею, он с необыкновенной резкостью ощутил всю горечь своего положения.

Москву он всегда считал своим городом. Он был русский. Москва для него была делом его рук. Белокаменная ли, златоглавая ли, насыщенная ли пафосом социалистического строительства, город Пушкина, Толстого, город, поразивший Наполеона на смерть, — она была его. С этим сознанием он ехал туда, как к себе домой. Это сознание лишь увеличивало белые крылья счастья, на которых он парил в эти чистые, медовые дни своей молодой жизни. Но то, что ему в Москве представилось — безрадостный быт москвичей, беспросветная сутолока, недоступность всех маленьких радостей жизни, самый факт, что даже и к той маленькой радости, чтобы самому стать частью Москвы, ему доступа не было, наполнило его горечью и обидой. Он понял, что быть москвичем — великая честь; что она, как княжеское достоинство, может быть приобретена лишь рождением от родителей, живущих, работающих, прикрепленных и прописанных в Москве, или же еще великими

услугами перед власть имущими. Будучи провинциалом, Вася чувствовал себя сословно униженным. Слушая, в то же время, разговоры дядиных домашних об их быте и о вещах их интересовавших, Вася обратил внимание на то, как охотно они говорили о нескольких московских знаменитостях и об их многотысячных доходах. Упоминались Дунаевский, Барсова, Лемешев и другие. Так раньше московский народ говорил о пирах богатого купечества. Но тогда у каждого обывателя были все возможности самому стать знаменитым и богатым, теперь эти шансы определялись каким-то неуловимым счастьем и делались совершенно недостижимы.

Наблюдая быт москвичей, Вася убедился, что и они такие же нищие пасынки жизни. Вот дядина внучка, студентка одного из лучших ВУЗ'ов столицы, рассказывает не без гордости, что ей потому удастся хорошо одеваться, что она каждый год продает на толчке прошлогоднюю одежду и имеет знакомства со спекулянтами. Вот... Да разве что начать перечислять?.. Вася с Верой за время своего короткого отпуска, могли порадоваться хоть минуту, подышав воздухом Третьяковской галлерей, а москвичи, оказывается, не могут позволить себе такой роскоши. Времени нет. А театры, включая и Художественный, — случай особенного счастья. Всем некогда. Некогда. Некогда.

Кто же живет? Для чего это? Почему люди лишены права на жизнь!

С грустным чувством уезжали из Москвы наши молодожены и, завидя после двух дней пути, трубы вождеградских заводов, они весело переглянулись. Дома!

Со времени их официального брака уже прошло три с лишним недели, а они все время были на людях, ни разу не оставшись наедине. Теперь, вернувшись из Москвы, Вася перебрался жить к Вере.

Комнатка Митиных осиротела. В тот вечер Анна Митрофановна долго сидела задумавшись за столиком в углу, где еще вчера стояла Васина кровать. Пришел Андрей Васильевич и тоже молча сел у стола, опершись на руку.

— Что, мать? Вот мы с тобою опять одни...

Его глаза были влажны.

У молодых же оставалось еще целых две недели отпуска до получения назначений, и они, забыв все на свете, наконец, с упоением ушли в новый открывшийся перед ними мир. То, что до тех пор было для них тайной, стало явной, чистой радостью.

Варвара Петровна старалась как можно меньше бывать дома, и Вера даже не замечала отсутствия матери. Вася с Верой допоздна спали по утрам, вставали когда хотели, и Вера готовила обоим утренний завтрак. Чай, хлеб, огурцы, помидоры... Потом они бродили по городу, проводили время на реке, раза два были в театре. Вечерами ходили в парк и подолгу просиживали над обрывом, с благоговением вспоминая пасхальную ночь, когда в душе каждого из них Воскрес Христос.

Домой они возвращались поздно.

Утром Варвара Петровна рано прошла на цыпочках через проходную комнату, где посели-

лись молодые. Она не удержалась и взглянула на них. Дети тихо спали. Вера положила голову на плечо Василию. На их лицах было счастье и безмятежный покой. Мать улыбнулась, глядя на счастье дочери, перекрестила их обоих и тихонько вышла. Выйдя на крыльцо, она вспомнила тот вечер, когда чужой молодой человек не мог в этом дворе славировать между Сциллой и Харибдой. Почему же теперь он стал ей родным?

В глубине двора, бряцая цепью, прыгал у своей будки Полкан. Кто-то из соседей тащил воду из колодца, и скрипучий ворот без конца повторял свое однообразное: «А-а-ах,.. а-а-ах...» Утренние косые лучи жаркого летнего солнца отбрасывали длинные тени. Варвара Петровна торопливой походкой шла в контору Заготзасоплодоовощбыта..

Как ни легко себя чувствовали молодые, занозы быта продолжались. Не прошло и недели, как стало рваться Верино приданное белье, и вскоре ей пришлось вернуться к старой привычке ежедневной стирки. Давала себя знать и проблема обедов. Молодые думали, что смогут обедать в павильоне у купального пляжа. Там их обед выразился в полутора часовом ожидании, в крутом холодном яйце и тарелке лапши. Пробовали кафитерий. В роскошно убранном под мрамор зале они выждали очередь за билетиками, очередь в кассу, очередь за получением заказанных блюд и очередь за получением ложек и вилок. Пришлось отставить. Железнодорожная столовка, питавшая семью Митиных при помощи «единой стройной системы», была слишком грязной и слишком скудной. Обед годился только после специальной приправки, которую ведъ

и устраивала Анна Митрофановна. Тогда Вася решил показать себя и повел Веру в ресторан для ИТР завода. Здесь их встретила роскошь, о которой они и не подозревали. Все было тонно, чисто, уютно и вкусно. Было любопытно то, что одновременно с ними в ресторане обедал директор завода и с ним секретарь райкома партии тов. Казюк. Действительно, это было место, где можно было встретить сливки вождеградского общества. Увидев счет, Вася пытался спрятать его от Веры и расплатиться незаметно, но она увидела и, выйдя из ресторана, заявила, что в богатых иностранцев она больше играть не намерена.

В нарождающейся семье сразу же установился скучный, будничный быт с доставаниями еды, с колкой дров, со всеми теми занозами, что так незаметно и так больно жалили их и до сих пор. Некуда было от них уйти.

Дни пролетали, и с каждым вечером все чаще и чаще Василий задумывался о том, какое назначение ему будет дано. Большого беспокойства у него не возникало. Он был отличником учебы. За время практики у него установились хорошие отношения с врачами местной ветеринарно-бактериологической лаборатории, те оценили Васины способности и обещали, что если он не устроится в Москве, то будут требовать его к себе ассистентом. А все-таки где-то в глубине точил червячок сомнения. А вдруг... Было, кроме того, неприятно и от сознания, что время подготовки к жизни прошло, что кончается отпуск, что вот-вот обоим придется влетать в лямку жизни, службы, в сбрую повседневных будней.

И эти будни пришли.

Веру назначили в вождеградскую городскую библиотеку. Она опасалась, чтобы ее не послали в деревенскую глушь, к которой она никак не была ни подготовлена, ни привычна. На ее счастье, судьба ее решилась иначе. Ведь известно было, что Вера — дочь учительницы Спиридоновой, которой запрещено работать в школе. Когда Вера кончила педтехникум, и ее надо было назначать учительницей в школу, партийно-комсомольские вожденята решили, что, хотя Вера и комсомолка, и молодое поколение, и что сын за отца не отвечает, но все равно яблоко от яблони недалеко катится, бдительность проявлять надо, и что по всему этому доверять младшей Спиридоновой воспитание детей не следует. Поэтому ее в библиотеку регистратором и назначили. Для Веры в этом беды не было. Она стала ходить на работу в библиотеку. Ее сразу же зачислили, поставили на паспорте нужные отметки, дали заполнить анкету, открыли ей трудовой список, словом — оформили и закрепили за библиотекой.

С Васей же получилась история. Придя за назначением в канцелярию веттехникума, он ждал, что получит направление в лабораторию, а вместо этого ему вручили путевку веттехником в ветпункт села Бахтызино. Бахтызино было большое село в глубине области. От Вожеграда по железной дороге с пересадкой — около полутора суток, и там еще 23 километра проселком. У Васьки и земля из-под ног ушла. Он понимал, что раз он попал на работу в глушь, выбраться потом к настоящей научной деятельности ему не удастся. Бахтызино фактически

закрывало перед ним все шансы на возможность позднее поступить в ВУЗ и идти дальше развиваясь в качестве исследователя. Василий решил протестовать. Он сбегал в лабораторию и взял там требование на себя. Там его знали и требование дали охотно. Потом подтвердил требование в РайЗО. Но ничто не помогало. Пришлось идти в райком комсомола и там, козыряя своим дипломом отличника учебы, настаивать на назначении в научную лабораторию. В райкоме потребовали рекомендацию от комсомольской ячейки из веттехникума. Тут Вася понял, что шансов у него нет, впрочем решил попробовать.

Секретарь ячейки ВЛКСМ веттехникума тов. Добринцев принял Васю, но был сух. Он не называл Васю по-товарищески, как это обычно в студенческой среде, по имени, но обращался к нему словами «товарищ Митин». Уже это одно заставило Васю насторожиться и почувствовать, что шансы уже биты.

Начав с того, что мы все должны работать там, где мы нужны партии и правительству, Добринцев стал говорить все более и более сухим тоном, указав в конце концов, что попытка нарушить разверстку может рассматриваться, как враждебная рабочему классу попытка сорвать план. Добринцев дал Васе понять, что он должен быть рад и такому назначению, т. к. его личное дело по комсомольской линии содержит слишком много... Добринцев сделал паузу, подыскивая слово... слишком мало данных в пользу товарища Митина.

— Да, что такое? В чем дело? — встревоженно спросил Вася.

— Говорить прямо? — резко спросил Добринцев, остро прищуривая глаза.

— Говори! — вызывающе вскрикнул Вася.

— Ты думаешь, можно тебе простить твои шуточки со словами вождя?

Вася вспомнил, как он «решал проблемы», вспомнил разговор с отцом.

— Ты думаешь, мы не знаем, что ты не смог выбрать себе жену из хорошей комсомольской среды? Твою жену с твоей новой тещей мы знаем слишком хорошо.

Васе вспомнилось предупреждение, которое Жовтынский давал его отцу прошлой весной.

— Наконец, ты думаешь у нас нет прямых улик против тебя?.. Скажи спасибо, что замяли дело здесь в ячейке.

У Васи зашевелились волосы на голове.

— Каких улик? — пробормотал он. — Ведь, я ничего преступного не сделал. Уличать, так надо хоть в чем-то.

— А это что? — поднимаясь из-за стола вызывающе произнес Добринцев. Он порылся в ящичке стола и достал небольшой сверток газетной бумаги. Вася насторожился, еще не понимая, в чем дело. Добринцев развернул газетный сверток. В нем оказалась скорлупа от крашенных пасхальных яиц.

Вася вспыхнул. «Проклятая дыра в кармане!» Он вспомнил, с какой предосторожностью завернул скорлупу в тот памятный день, вспомнил и то неопределенное чувство, словно он потерял что-то важное, чувство, которое сопровождало его после Пасхи и в дни, предшествующав-

шие экзаменам. Вася покраснел и пораженный сидел на стул.

— Да-с, дорогой товарищ Митин. Надо быть аккуратнее и не терять таких вещей там, где по твоим следам их подбирают и приносят в бюро ячейки.

Если бы на Васю этот сверток не произвел такого явного потрясения, он пытался бы отнекиваться, но своим смущением он выдал себя с головой. Впрочем, от него не ускользнуло то, что Добринцев перешел на «ты». Это ободрило Васю. Все-таки старая школьная дружба брала свое и в сердце молодого партийного карьериста.

— Свидетели есть, — продолжал между тем Добринцев. — Скажи спасибо, что я это дело подзамаял, а то тебе еще до выпускных экзаменов перо бы вставили. Мы все-таки тебя до экзаменов допустили. Так у тебя, по крайней мере, диплом в кармане.

Последовала долгая пауза. Молодые люди молча смотрели в глаза один другому. Говорить было не о чем.

— Д-д-да... — задумчиво вымолвил, наконец, Вася. — Я знал, что ты не сволочь. Спасибо. Но ты понимаешь, что это назначение ломает всю мою жизнь! Из-за этого, буквально из-за выеденного яйца, ломать жизнь человеку?

— Эх, Вася. Если бы ты знал, какой бой я выдержал с Коганом. Ведь, надо же быть такому несчастью, что именно он нашел и подобрал за тобою следом эту шелуху. У тебя что? В кармане дыра была, что ли?

Вася кивнул головой.

— Ну, что же мне-то было делать? — го-

ворил Добринцев. — Ведь, это же улика.

Вася понимал, что это улика.

— Поезжай в Бахтызино. Туда мы можем послать на тебя хороший отзыв. Поезжай и держи ухо востро. Может быть выпарапаяешься.

— Ну, а если бы я наплевал на все, отказался бы от диплома, от ветеринарной науки, от дела... если бы я просто пошел на завод? Ведь уезжать из Вожеграда для меня... сам понимаешь. Здесь дом, родители, жена, квартира. Пойду на завод.

— Чернорабочим? — иронически заметил Добринцев.

— Почему же именно? И и чертить умею, и считать, да мало ли...

— Да, слушай. Придешь ты на завод. Оттуда на тебя опять запрос. Райком сообщит все, да прибавит еще, что ты отказался от работы. Стало быть, ходу тебе не дадут. Способностей в тебе не найдется! — с особенной иронией добавил Добринцев. — А то еще к суду потянут за отказ отработать учебу.

Помолчали.

— Боже, до чего же все это сложно. До чего сложно. Кому все это нужно?

— Брось Вася рассуждать! — проговорил Добринцев дружески. — Брось, честное слово. Живи, как живется, да помалкивай. Это по дружбе я тебе говорю.

— Спасибо.

— А кроме того, не забывай в какое время живем. Идем вперед. Движемся к новому. Трудно, разумеется. Приходится терпеть. Трудности. Ведь никакая победа без жертв не бывает.

— Уж слишком много...

— Что ты хочешь сказать? Договаривай!
— вызывающе почти вскрикнул Добринцев. Вася пронзительно посмотрел ему в глаза и с плохо скрываемой иронией отвечал:

— Трудностей слишком много.

— Ну, так что ж. Их и надо преодолеть.
К победе идем.

— Ладно! — махнул рукой Вася. — Победа там победой, а что у меня из жизни ком получается, так это я лучше всякой победы понимаю. Прощай.

Они пожали друг другу руки.

Путь от техникума домой лежал мимо магазина «Гастроном», и здесь Василия, если так можно выразиться, ожидала неожиданность. Последняя выразилась в виде Семки Рабиновича, который крепко хлопнул его по плечу.

— Здоров, старый друг! Ты что? Забурел? Кончил техникум, так и узнавать перестал?..

В самом деле, Вася был так погружен в свои думы, что никого не замечал. Он был рад встрече. Они давно не виделись. В стрелковом клубе Вася не бывал давно, в хлебном снабжении последнее время было некоторое облегчение, и в специальных встречах надобности не было. (Зачем зря беспокоить приятеля?..)

Они не виделись с того дня, когда Семка Рабинович, в числе других приятелей, был у Васи на «свадебном пиру». Теперь они стояли один против другого и, крепко пожимая руки, улыбались.

— Ну, что?..

— Ну, как?..

— Да, вот...

И Вася рассказал приятелю о нависшем над ним несчастье. Сема внимательно слушал. Выслушав историю до конца, он помолчал и, пытливо глядя на Василия, произнес:

— А я думаю, что имею такую касторку, которая тебя может вылечить. Пойдем-ка со мною, да потолкуем. Семка Рабинович, он, знаешь, хитрый парень и иногда что-нибудь может сделать хорошего. Не идти же, в самом деле, на черную работу!

Они вошли в магазин, прошли зал и по узким проходам проникли в клетушку под лестницей. Обычно такие помещения устраиваются, чтобы складывать метелки или лопаты, но Рабинович пробил здесь окно, установил столик, провел сюда телефон и обосновал здесь кабинет помзавмага, каковым он являлся. Редко кто умел так просто и по-дружески принять приятелей, как этот малый, просто и уверенно нашедший свое место в жизни. Он не гнался за положением; заработки и почести его не интересовали. Искусство и наука были далеки от практики жизни. Он знал, что возле продуктов питания он никогда не пропадет и даже будет сыт, одет и обут. Так и было.

На столе появился хлеб, сыр, сардины и водка.

— Выпей против огорчения.

Проголодавшийся Василий набросился на закуски. Они налили «по единой», чокнулись, выпили и крякнули.

— Хорошо!

— Одним словом, Вася, если это тебя устраивает, я могу тебе помочь. Тебе нужно устроиться на работу в городе. У меня есть место. Конечно, не по твоей специальности. Дело в следующем. Мне нужен кладовщик.

Вася опешил. Он никогда не думал, что после ряда лет упорного труда над книгами, он может оказаться кладовщиком. Рабинович продолжал:

— У меня получается такое положение. Кругом жулики... — Понизив голос, он высказал: — Просто люди недоедают, потому и воруют. Ну, так я же понимаю, что можно украсть, но надо же знать меру. А то, как возьмешь человека, он сначала туда-сюда, а через неделю его надо выгонять, чтобы он не засыпался прежде, чем он схватит «семь-восемь» с десятью...* Ну, спасаешь одного, другого, третьего, а потом, черт возьми, надо же и работать! Вася, я знаю, ты такой человек, что я на тебя смогу надеяться. Ты, я знаю, даже и по честному не будешь красть, а что можно брать, я сам тебе буду сказать... Скажу, — поправился Рабинович. — Брось ты эту самую науку ко всем чертям. От нее ты сыт не будешь, а здесь ты будешь иметь все, что нужно и не больше.

Рабинович стал рисовать Васе картину спокойной и удобной работы в городе. Ему очень

* «Семь-восемь» — технический термин для закона от 7-го августа 1932 г. об охране социалистической собственности. Ничтожное присвоение соц. собственности по нему ведет к осуждению на десять лет концлагерей. Более значительное обозначает расстрел.

хотелось и помочь приятелю и приобрести честного работника, и показать, что он что-то может сделать. Развеселившись от выпитой водки, он стал объяснять Васе, что как бы ничтожно ни было жалованье, работники снабжения всегда имеют свою долю за счет утруски, усушки, сырости и прочих подробностей. Надо только знать меру.

Василий думал свою думу. Что важнее: остаться в городе или работать по избранному пути? Его привлекала не «сытая» работа, а шансы не уезжать из насиженного места, не заклиниваться в деревенскую глушь. Но в то же время это обозначало покинуть мечту о научной работе, и ему было жаль расставаться с «бактериями».

— Слушай! — вдруг прервал он словопоток Рабиновича. — Все это так. Допустим, я решусь на такой шаг... Но, ведь, райком-то от этого никуда не денется. А без его санкции и ты, пожалуй, не посмеешь принять меня.

— Райком? Что значит райком? Это кто? Казюк или может быть Коган?

— Ну да. Они.

— Так они же оба у меня вот здесь вот. — Он хлопнул себя по карману. — Они же от меня зависят в удовлетворении их моральных потребностей.

— То-есть?

— И если я приду и скажу им, что мне надо честного кладовщика, то они мне утвердят без запинки это дело.

— Да. Но моральные-то потребности-то причем же?

— Ох, какой же ты наивняк. Они хотят кушать, или не хотят? Я тебя спрашиваю. Вот и вся мораль.

— Так у них же есть закрытый распределитель.

— Что значит закрытый распределитель? А может быть, товарищу Когану, или кому-нибудь из райкома хочется иметь немножко еще?.. И тогда он приходит к товарищу Семке Рабиновичу, потому что он не смеет придти прямо к завмагу, и напоминает, что у товарища Рабиновича был папа, который при НЭП-е держал-таки хороший магазин и был лиценцем. И тогда товарищ Семка Рабинович вспоминает про утруску и про усушку, и про то — что и куда надо записать, чтобы все были довольны. И тогда постепенно у жены товарища Казюка приезжает откуда-то серебряная лисица, а товарищ Коган имеет икру, чтобы отпраздновать свой день рождения, или я знаю, что ему еще надо праздновать?

— Так они же, с . . . с . . ., тебя доят, как козу! — Вася отозвался о партийных вельможах не совсем красивым словом, которое мы здесь опускаем.

— Ну, так что же? Они меня немножко доят, и я их немножко дою. И все очень просто.

— А ты-то, храбрец, чем же их доишь?

— Я? .. Они для меня молчат, когда читают мою анкету.

— Гм . . . Стало быть, круговая порука?

— Как ни назвать. Они мне нужны, а я им тоже нужен. Словом: хочешь, или не хочешь?

Они расстались на том, что Вася посоветуется дома, тем временем Рабинович найдет удоб-

ный момент поговорить с Коганом, и дней через пять придет снова в «Гастроном». Вася понимал, что Рабинович несколько преувеличивает свои возможности сделать протекцию, что ему хочется прихвастнуть, но все-таки... Чем черт не шутит? Как бы то ни было, дружеское участие живо тронуло Василия.

Подходя к отцовскому дому, чтобы посоветоваться с родителями в решении такого важного вопроса, он уже склонился к мысли «сменить ученую деятельность на чечевичную похлебку», чтобы только остаться в Вождеграде. Андрей Васильевич не соглашался, но потом пришли к соображению, что, как временная мера, это может быть и удобным вариантом. Вера только рада была. Вася затянул свой отъезд на несколько дней, сказавшись больным. Его бумаги могли подождать в РайЗО. Ждал условленного пятого дня, и только мучил червячок сомнения — не слишком ли преувеличил Семка свои возможности. Желание остаться в Вождеграде, в привычной обстановке, заглушило иные мотивы, и Василий примирился с мыслью, что будет кладовщиком, а Вера стала звать его «Васька-Ключник». Мечта «быть сытой» не была чужда и ей!...

Но, как неожиданно началась для Васи эта страничка, так неожиданно она и кончилась. На третий день в местной газете появилась информация об аресте группы «темных дельцов», которые присосались к магазину «Гастроном» и занимались самоснабжением и срывали планы рабочего снабжения. Арестованные обвинялись по закону от 7-го августа 1932 г. В числе арестованных был и С. Рабинович. Коган с Казю-

ком все-таки «выдоили» сына бывшего лишенца.

Газета была снабжена передовой, в которой враги народа и нарушители закона о социалистической собственности клеймились позором, в которой автор требовал от прокуратуры повышения бдительности и наблюдения, чтобы «социально чуждые элементы» не могли «присасываться к теплым местечкам». Автор взывал о необходимости принятия суровых мер. Статья была подписана секретарем райкома комсомола тов. Коганом.

— Вот тебе и «Васька-ключник!», — свистнула Вера.

Варвара Петровна и все прочие искренне порадовались, что Вася не успел поступить на место, которое, как оказывалось, было хотя и прочным, и незаметным, но настолько опасным. Вася от души пожалел приятеля и в происшедшем случае увидел указание судьбы — не менять стремление к серьезной работе на «чечевичную похлебку».

Итак, надо было ехать в Бахтызино. Надо было расплачиваться за бесплатное ученье. Кончив курс, он был обязан отработать свое ученье там, куда его посылали, не считаясь ни с какими обстоятельствами его личной жизни. Приходилось делать работу, какую прикажут, работать там, где прикажут, получать за труд, что дадут. Василий Митин, как и сотни тысяч его сверстников, был со всех сторон ограничен документами, у него было столько прав, что все они, переплетаясь с правами государства, превратились в ограничения и вместо прав стали обязанностями. От жизни остались ре-

гламент, нищета, лишение элементарной свободы личности и беспросветные будни, вырваться из которых не было никакой возможности.

— Приходится ехать, — объявил он Вере.

И тут же пришла новая беда. Разумеется, Вера решила, что поедет с мужем в Бахтызино. И тут же выяснилось, что без разрешения она с мужем ехать не имеет права. Право на труд у нее отбирало право на семейную жизнь. Начались новые хлопоты.

Библиотека Веру не отпускала. Вера уже была оформлена и закреплена. На нее был заполнен трудовой список, она была опутана печатями, подписями, резолюциями. Конституционное право на учебу и право на труд лишили ее человеческого права ехать с мужем туда, куда он был назначен на работу.

Когда Вера пришла домой с этим известием, Вася обозлился и решил добиваться своего. Взяв с собою брачное свидетельство, он отправился в РайОНО, которому была подчинена библиотека. Брак был законный, оформленный. Разумеется, на их отношения могли не обратить внимания, если бы они жили без записи, но ведь запись была сделана! В анкетах они оба с гордостью молодых супругов написали: он — женат, а она — замужем. Вася считал, что закон на его стороне, и что свое право жить со своей женой он сумеет доказать.

Его принял замзав РайОНО. Предъявив документы, Вася действительно без труда доказал, что он женат, но это не отменяло обязательств, которые несла Вера. Брачная запись не помогла. Вася стал спорить. Замзав отнес-

ся к нему сердечно, выслушивал его, соглашался и возражал. Каждый из них говорил о правах и об обязанностях. В конце концов, замзав соглашался с Васей, но он тоже был подчиненным человеком, над ним был закон и, наконец, сам он был представителем советской власти. Власть требовала подчинения. Замзав объяснил Васе, что помочь ничем не может. Вася говорил сдержанно, тщательно подбирая слова, но постепенно его терпение истощалось. Он готов был надерзить. Замзав еще раз объяснил ему положение вещей.

— Ничего не могу сделать. Ваша жена останется работать в вождеградской библиотеке.

— Хорошо... Права... обязанности... Я... все это так.. Я понимаю... Но, ведь, вы-то тоже?.. Вы-то тоже понимаете?

У Васи не хватило слов. Голос его дрогнул. Он разрыдался, склонив голову на руки на краю письменного стола замзава РайОНО. Начальник стал громко сморкаться. Ему было не по себе. Он встал и начал ходить по кабинету. Вызвал секретаршу.

— Помогите вы. Я ничего не могу сделать, — сказал он ей.

Секретарша, мягко успокаивая, вывела Васю из кабинета и долго водила его по коридору РайОНО. Она дала ему свой носовой платок, и он им утирал неудержимо катившиеся слезы. Потом Вася остановился и, глядя секретарше прямо в глаза, сказал:

— Спасибо вам. Вы — хороший человек... — и стремительно вышел на улицу.

Он остановился в задумчивости, и вдруг ему вспомнились черные глаза Федора Льво-

вича. Словно живой он предстал перед ним, и словно въяве послышался его приглушенный голос, его торопливые слова : «Пусть они будут прокляты от Бога, от меня, от всего народа, от всего живого !»

Поезд, которым уезжал Василий Митин, формировался в Вождеграде. Вагоны долго стояли у платформы в ожидании паровоза. На платформе собрались провожающие : старики Митины, Варвара Петровна и Вера. Вася стоял в вагоне у открытого окна, и они все обменивались незначительными фразами. Все уже было сказано. Василий, проголодавшись, достал из корзинки ломоть хлеба и стал его кусать. На приманку упавших крошек с крыши вокзала слетело два голубя. Вася стал крошить им хлеб, и голубей собиралось все больше и больше. Солнце ярко освещало и вагон, и платформу, и голубей, с живостью подбирающих крошки, которые Вася бросал им из окна. Все улыбались.

Всюду жизнь.

Здесь тоже была жизнь.

ХУ

НЕДОУЧТЕННЫЙ ФАКТОР

Жизнь — удивительная вещь. Что бы ни случилось, она продолжается. Она продолжается после землетрясений, после извержения

вулканов, после пожаров и войн, она идет в это время самих катастроф. Каким бы ни было потрясение, оно уходит во вчерашний день. Снова восходит солнце, снова жизнь ставит перед человеком свои требования. Приходят новые заботы, они занимают внимание, наполняют время, и тяжелые раны заживают. Но много, много времени проходит прежде, чем исчезнут рубцы, этими ранами оставленные.

Почтальон хорошо знал дорогу и к домику, где жила Вера, и к домику Митиных на улице Легина. Вася писал ежедневно.

Жизнь продолжалась. Ходили на службу, возвращались домой, обедали, чем Бог послал, ложились спать и вставали, доставали предметы питания, штопали, сушили мокрые ботинки. Человек привыкает ко всему. Привыклось и то, что Вася живет в Бахтызино, и что время, когда молодым людям можно будет снова встретиться, отстоит еще далеко, далеко.

Наступила осень. В школах пошли занятия. Потянуло холодком. Солнце днем было горячим, но утра уже были холодными. С полей из колхозов пошли овощи, пошел сезон засолки и заготовки овощей. В конторе у Анны Митрофановны работы прибавилось. Все были заняты по горло. Наконец, и Васины письма стали приходить реже и реже. В Бахтызино возникла какая-то эпидемия скота. Василий уставал, писать ежедневно не мог. Потом он сообщил, что его посылают куда-то в объезд по району. Писем не стало. Вера похудела и подурнела. Начали проявляться признаки недомогания, связанные с беременностью.

В начале октября Анна Митрофановна пришла, как обычно, в свою контору. Во дворе уже шла работа. Стучал мотор, работала крошильная машина. Крошенная капуста зеленоватым потоком плыла по конвейеру вверх и, как силос, сваливалась в огромные чаны. Рабочие весело перекликались. Кто-то громко пел. Кто-то в кого-то бросил кочаном капусты. Послышался взрыв смеха. Анна Митрофановна заулыбалась. Здесь была жизнь.

Сторож, стоявший у табельной доски, передал Анне Митрофановне записку. Записка была от Попова. Оказывается, он приходил утром в четыре часа, долго сидел в конторе и, уходя, оставил сторожу вот эту вот записку. Анна Митрофановна удивилась до чрезвычайности. Что было Попову делать так рано в конторе? Что-то подсказало ей тревогу. Войдя в контору, она, не садясь за стол, стала читать.

Письмо Ивана Васильевича Попова

Глубокоуважаемая Анна Митрофановна,
Обстоятельства чрезвычайные и невозможность видеть вас лично и с вами беседовать сию же минуту вынуждают меня писать вам. Приготовьтесь к очень важным и тревожным известиям. Прочитав это письмо, уничтожьте его и немедленно делайте то, что я вам в нем указываю. Необходимо, чтобы вы с супругом, Жовтынский и ваша невестка с матерью немедленно же скрылись из города. Я сюда пришел утром в четыре. До этого часа был в НКВД. Вызвали вчера в 8 вечера. Допрашивали всю ночь. Они узнали про свадьбу. Читали мне почти дословно записку Андрея Васильевича и

какие-то еще его рассуждения. Я думал, что этот донос — работа Жовтынского, но потом выяснилось, что нет. Из допроса я убедился, что доноситель не он, и что он сам на подозрении. Мне не все было понятно. Говорили про его (невероятно) связь с Варварой Петровной и про каких-то карасей в сметане. Я думаю, что за вами и за ним давно следили, и что, очевидно, доносили ваши соседи. Меня заставили подтвердить. Анна Митрофановна! Клянусь Богом и всем, что у меня есть святого, я отпирался. Я делал все возможное, доказывая, что мне ничего неизвестно. Я делал все возможное, чтобы никого не подвести под беду. От меня требовали показаний и подтверждений, что у нас контрреволюционная организация... Да, забыл было: спрашивали про какого-то Паравина, и не было ли у меня с ним личных счетов? Если бы вы знали, что они мне предлагали за то, чтобы я развил показания, которые у них уже есть. Если бы вы могли себе представить! Разумеется, я пренебрег всеми их посулами. Я отпирался и отказывался. Но потом я увидел, что мне нет иного выхода. Анна Митрофановна! Ведь я не герой. Я обыкновенный жалкий человек. Жалкий. Именно так. От посулов они перешли к угрозам. Я не выдержал. Я — п о д л е ц . Я не выдержал. Но там невозможно. Нет человеческих сил выдержать. Я подписал и поэтому вышел на свободу. На свободу? Зачем она мне теперь? Схожу с ума. Дурак, кто говорит, что нравственные пытки хуже физических. Они мне показали, что со мною сделают, если я не подпишу, или обещали отпустить. Они говорили, что долго распутывали узел, но что те-

перь разобрались. Зря, говорят, так долго доверяли Жовтынскому. Они знают — кто я. Всех знают. Все знают. Я раньше не знал, что Варвара Петровна была замужем за священником. О каждом у них подробности. Анна Митрофановна! Я не выдержал. Я хочу писать коротко и поделовому. Некогда. Я им нужен для других дел, и они обещали перевести меня в Москву. Я обязался молчать. Пусть они будут прокляты, чтобы я молчал. Анна Митрофановна, мы все погибли. Я знаю, что я бесчестный человек. Они мне что-то подсовывали, и я подписывал. Может быть, я уже сошел с ума? Может быть, был сон? Нет. Это было. Я им сегодня еще нужен, а ваше дело закончено. Спасайтесь. Единственное, что могу сделать, чтобы хоть как-нибудь оправдать себя в своих глазах, — это сообщить вам, предупредить вас. У вас еще есть время. Скорее спасайтесь бегством. Мне уже нет дороги никуда. Они дали мне свободу. Зачем она мне теперь? Я когда-то думал, что я сильный, честный. Я не могу. Без чести я жить не могу. Если можете меня простить, простите. Там человек перестает быть человеком. Неужели не будет конца этому ужасу? Боже мой! Если бы вы знали, что у меня на душе. Я предатель. Анна Митрофановна, ножки ваши целую, землю буду целовать, на которую вы ступали: простите. Может быть, хоть то, что я все сделал, чтобы вас предупредить, хотя в малюсенькой степени изглаживает какую-то долю из огромности моего предательства, моего преступления, моего бесчестия. Бегите скорее. Бегите, не теряя времени ни на какие сборы. Для вас еще не все потеряно, если будете действовать быстро. Хо-

тел бы сказать еще многое, но повторяю главное : бегите, не теряя времени. Прощайте. Попов.

Записка, конечно, была написана в состоянии шока. То, что в ней стояло, было так мало похоже на правду, на действительность, на всюду царившую жизнь, на веселую переключку рабочих во дворе . . . Анна Митрофановна, потрясенная, перечитала записку. Неразборчивость, трудность разобрать буквы обычно ровного почерка Ивана Васильевича, как-то заслоняли содержание. Но даже и перечитав письмо, она не могла сообразить всего значения слов ею прочитанных. Только в третий раз прочитавши записку, она ощутила все ее значение. Мороз пробежал у нее по коже. С необычайной ясностью перед ее взором возникла картина, как на свадьбе ее сына Жовтынский сказал: «...если вам дорога жизнь и свобода каждого из нас».

Хлопнула дверь. За стеной слышались голоса. Это директор плодоовощи приехал в контору. Анна Митрофановна поняла, что действовать надо немедленно.

Куда-то надо идти . . .

Куда-то надо бежать . . .

К у д а ?

К у д а ж е ?

Анна Митрофановна не могла позвонить мужу. В школе не было телефона. Позвонила Вере в библиотеку. Оказалось, что Вера еще не приходила. Анна Митрофановна испугалась, что ей теперь будут грозить неприятности за опоздание

на работу. Как бы не суд. Но тут же сообразила, что дело гораздо хуже.

А вдруг Попов был нетрезв? Спросила сторожа. Ведь, могло и это быть?..

— Да, как вам сказать. Кто же его разберет? Человек, ведь, он непьющий, а тут вроде как шатало его. На ногах был нетверд. Бледный был. Похоже больной.

Анна Митрофановна решила пойти прямо к Попову и узнать, в чем дело. Объяснив директору конторы, что главный бухгалтер болен, и что ей нужно у него получить ключи и инструкции по работе, она поспешно отправилась к Ивану Васильевичу на квартиру.

Попов жил неподалеку в маленьком домике, принадлежавшем одному из рабочих склада овощей. Когда Анна Митрофановна вошла во двор дома, где жил Попов, она обратила внимание на группу женщин, стоявших возле сарая и о чем-то возбужденно между собою говоривших. На вопрос о том, как пройти к Попову, одна из женщин сделала жест в направлении сарая.

— А вот...

В тоне женщины было что-то странное, похожее на усмешку или испуг. Анна Митрофановна не подумала о том, как могло получиться, чтобы комната была в сарае. Она подошла к нему, перешагнула через порог в темноту просторного здания и в ужасе отпрянула назад. В кровельную балку был крепко вколочен свежий большой гвоздь. На гвозде было намотано полотенце. На полотенце висел Иван Васильевич Попов.

Кто-то пошел за милиционером.

Пользуясь замешательством, Анна Митрофановна проскользнула сквозь толпу слободских женщин. На нее не обратили внимания. Она не помнила, как шла, не понимала, почему не побежала к мужу. Она ощутила себя только тогда, когда взялась за ручку калитки. Железо было холодным.

Во дворе прыгал пес. Это был Полкан.

Вера сидела на стуле, низко склонив голову себе на руки и пальцами сжав виски. В комнате был беспорядок. Все было разворочено.

— Маму увели, — каким-то глухим, безразличным, каменным голосом произнесла Вера, не меняя своей позы. — Пришли, все перевернули. Обыск делали. Потом увели. Меня оставили, потому что я беременна.

И слезы закапали на пол.

Кап... кап... кап...

— Что с Васей? Что с Васей?

Анне Митрофановне, которая сама была в последней степени растерянности, пришлось изображать из себя сильную женщину. Она подняла Веру со стула, утешала, что маму скоро отпустят, освежила Вере лицо холодной водой. Она толкнула ее к действию. Тут же Анна Митрофановна отдала Вере письмо Ивана Васильевича на сохранение. Та была настолько потрясена и растеряна, что не потрудилась прочесть.

Они вдвоем все же решили, что единственный человек, к которому можно обратиться за помощью, это Жовтынский. Самой Анне Митрофановне казалось, что Попов непременно ошибся относительно него. Пошли к Жовтынскому посоветоваться. Они вошли в подъезд дома, где

жил Ефим Матвеевич. Здесь было три двери. Его дверь была заперта. На ней — свежая приклейка с большой треугольной печатью. Жовтынский был арестован.

Сбившись с ног в своих заботах о Вере, Анна Митрофановна лишь во второй половине дня вернулась на службу. Там ее ждал агент. Андрея Васильевича арестовали во время большой перемены.

И все они ушли из Вериней жизни навсегда.

Увидев после нескольких попыток свою полную беспомощность как либо помочь матери, Вера бросила все. В самом деле, ни в НКВД, ни в прокуратуре ей не дали никаких справок, о принятии передачи для заключенной не было и речи. Она пробовала обратиться в коллегия защитников. Там ее даже слушать не стали.

— Будь, что будет! — в отчаянии махнула она рукою.

Она бросила все. Не посмотрев, что это будет нарушение многих законов, собрав самое дорогое и самое необходимое из вещей, она поехала к мужу в Бахтызино. Она знала, что уезжает навсегда. Денег на билет у нее хватило. От железной дороги до Бахтызино шла пешком. Вымокла. Было уже холодно. Холодный ветер рвал мокрые листья с деревьев. Ночь была темной. Дорога — скользкой и липкой. Идти было трудно и страшно. Было трудно отыскать избу, где жил ветеринар. По счастью Василий был дома в этот день.

Весь остаток ночи она рассказывала мужу о своих последних днях в Вождеграде, о его родителях, обо всем, что знала.

Они двадцать раз перечитывали письмо Попова, вспоминали день своей свадьбы и все подробности, связанные с письмом, записку, которую читал отец, дело о какой-то фразе в школьных упражнениях, о которой как-то проскальзывало в разговорах Варвары Петровны.

— Да, да... — пробормотал Вася, — а того фактора и не учли, что у соседей было слышно, что у нас делалось. Недоучтенный фактор. Вот заколдованный квадрат нас всех и прихлопнул.

В эту же ночь Вера потребовала помощи врача. Врача не было. Пользуясь своими познаниями, как ветеринар, Вася оказал жене нужную помощь.

Роды были преждевременные. Ребенок — мертвый.

.

Простить это, может быть, можно... Забыть — нельзя никогда!

Жизнь — удивительная вещь. Что бы ни случилось, она продолжается. Она продолжается после землетрясений, после пожаров, войн и революций. Она не прекращается даже не останавливается, во время самих катастроф. Каким бы ни было потрясение, оно уходит во вчерашний день. Снова восходит солнце, снова жизнь ставит перед человеком свои требования. Приходят новые заботы, они занимают внимание, наполняют время и тяжелые раны затягиваются. Под рубцами остается искалеченная ткань, все глубже и глубже нарушающая нормальную жизнь.

А жизнь все идет, и идет, и идет...

Так и теперь, в эпоху великого бедствия, которое пришло на землю *), во все дни продолжают на земле сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, и день и ночь не прекращаются **), а люди едят и пьют, женятся и выходят замуж ***).

Жизнь идет своим чередом.

Катится поезд жизни. Стучат колеса по стыкам рельсов. В арестантском вагоне изможденные лица заключенных улыбаются всходам зелени на придорожных полях, пробегающим зайцам, пролетающим птицам...

Солнце яркими лучами обливает поезд, и дети на полу арестантского вагона забавляются, глядя на пылинки, танцующие в солнечном луче.

А поезд катится дальше, и дальше, и дальше,

А колеса мерно стучат, четко, дробно и мерно отбивая короткие слова —

Всюду жизнь...

Всюду жизнь...

Всюду жизнь...

Всюду жизнь...

Всюду жизнь...

КОНЕЦ

*) Еванг. Лк. XXI, 23; **) Бытия УШ, 22; ***) Еванг. Матф. XXIV, 38.

